

Галина Даимова



Цюль
июль
август

Галина Даитова

Июль, июль, август

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Даитова Г.

Июль, июль, август / Г. Даитова — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Это – роман о двух любящих людях, не видевших друг друга тринадцать лет. Они расстались в канун больших бед, которые им суждено было пережить порознь: Он, приговоренный к смерти по ложному доносу, скрывался от грозящей ему королевской плахи; ОНА – в лишениях обрушившейся на страну войны растила их сына и... жила с клеймом шлюхи. Из всех клятв, данных друг другу перед алтарем, они не сдержали ни одной. Но уже произнесено некое пророчество: им будет оказана редкая, похожая на наказание милость, о которой все легкомысленные юные влюбленные просят Бога - умереть в один день. Сбудется ли это зловещее пророчество в день их встречи и примирения?

© Даитова Г., 2018

© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	39

I

Отец назвал меня Августой, потому что месяц август был для него самым счастливым из всех остальных. Именно в августе он впервые увидел мою мать. Позже, но опять в августе, родилась я... Ну а для меня месяц август стал месяцем самых больших бед: во-первых, в августе я родилась, и в августе же не стало мамы – она умерла почти сразу после родов... В один из совсем недавних августов отец заболел, и в другом августе, через год, я его похоронила...

Всё то время, пока он болел, я ни разу не слышала от него ни сетований, ни жалоб. К своей болезни он относился хладнокровно и почти презрительно, как к чему-то случайному, нелепому и не заслуживающему особого внимания. И только однажды, когда Яков Эйзенерц заехал его проведать, отцу изменила его обычная выдержка...

– И сколько лет мы с тобой не виделись?– спросил отец.

– Лет десять, не меньше.

– Десять лет – это для нас с тобой много, а там,– он ткнул в потолок указательным пальцем,– там это не больше десяти минут – богу хватит не на много, только, может быть, чтобы сморкнуться в бороду... Как ты живешь и что делаешь – не спрашиваю, у меня нет на это времени. Видишь ли, пока бог кашлял в свою бороду, я, кажется, успел совсем состариться...

– Просто ты хандришь, дружище, – с показной бодростью отвечал Яков Эйзенерц, разглядывая его осунувшееся лицо и лоб, изрезанный черными морщинами.– Да и кажется мне, что твои врачи тебя обманывают – поменьше бы ты слушал их, право слово... Когда я входил сюда, из дверей шмыгнул один такой лекаришко – рожа совсем шарлатанская. Я, например, этих стервятников и на пушечный выстрел к себе не подпускаю – им только дай волю...

Отец лишь махнул рукой.

– Вчера у меня болели почки,– кашлянул он.– Чтоб ты знал, их растет две штуки около поясницы... И какая это мука, когда болят почки! А перед каждым дождем у меня ломит ногу – ту самую, раненую давным-давно под Гассларом, про которую я уже сто лет назад забыл и думать, а теперь... теперь мне кажется, что больше всего дождей на земле выпадает на нашу крышу! Это такая боль, что, клянусь, когда-нибудь во время ливня я пошлю всё к чертям и сам отгрызу себе ногу по колено! Нет, врачи тут не при чем. Это обычное посвящение в старость... Ах, да... вот еще что. Так привык, что чуть не забыл, – отец приподнялся на локте и, сощутив трясущиеся глаза, поглядел на Эйзенерца молча минуту или две, как бы решая, стоит ли говорить ему об этом... Но потом вздохнул и забормотал, упав обратно в подушки:

– У меня на ребрах стали расти какие-то шишки, или наросты, или уж не знаю что. Лекарь только пожимает плечами, а между тем день ото дня костей во мне становится всё больше и больше, я обрастаю костями, как речной омуль. Это, кажется, какая-то редкая болезнь, и она превращает меня в каракатицу, заставляет топорщить жабры ребер вправо и влево, перекачивает комки костей из левой руки в правую и обратно... Когда-нибудь, наверное, они останутся где-нибудь, осядут на одном месте, зацепятся за жилу и станут выпячиваться наружу третьей рукой, плавником или холкой, как у лошади... Может, лет через десять я стал бы походить на рака или устрицу, обрастая и обмотавшись своими костями... И бог вдоволь повеселился бы, поглядывая на меня сверху – посмеялся от души, дрыгая белыми ногами. Он бы, наверное, хвастал мною перед уставшими ангелами, тыкал в меня белым, длинным, в полверсты, пальцем: вот, мол, какая у него вышла забавная каракулька и не загнуть ли ее еще в какую-нибудь сторону за следующие десять лет... Как знать, может, ему станет жалко прятать такую жемчужину прямо в землю – жемчужину, которую он растил столько лет себе на забаву...

Эйзенерцу было не по себе слушать всё это, он морщил лоб и крутил двумя пальцами засаленный ус.

Когда он приехал, мне пришлось выйти из комнаты, чтобы дать им вдоволь наговориться друг с другом, как того хотел отец. Но я стояла за дверью, чуть приоткрыв ее, чтобы слышать и видеть всё, что происходит в комнате. Я боялась оставлять отца без присмотра, очень уж он был плох...

– Да, пока бог кашлял в свою бороду, я, кажется, успел состариться, – повторил отец, завизжав на своих перинах. – И теперь я уже не смотрю на хорошеньких вертлявых дур с большими грудями и маленькими носиками... Теперь я плачу собственной кривобокой кухарке, чтобы раз в неделю она поднималась бы ко мне наверх в мою свалывшуюся постель... Вот это и есть горе, и большое горе, чтоб ты знал! Хотя тебе этого, конечно, пока не понять... А каково каждый месяц доплачивать этой старой кривой потаскухе всё больше и больше, потому что она за прежнюю цену уже отказывается подниматься наверх – ей, видите ли, неприлично, ей не хочется, ей надоело, она всем расскажет об этих вот гнусностях!.. Боже, какая это морoka – старость! Люди, которые доживают до старости – проклятые люди... А кривобокая ведьма вдобавок еще и рассказывает на кухне другим слугам и своему молодому любовнику, какой у старика-хозяина обвислый морщинистый зад, как у него воняет изо рта и как ей всё время приходится отворачивать голову, а ему приходится за каждый слюнявый поцелуй доплачивать ей, спуская монету в вырез её платья дрожащей, холодной от старости рукой. И если бы у меня были враги, то как бы они злорадствовали, глядя на меня! У меня был один враг. Настоящий враг! Но я по глупости своей отправил его на тот свет... Я тогда еще не знал, что жизнь заканчивается так, что любой мести хуже.

Эйзенерц, подперев щеку ладонью, печально сидел возле кровати больного, и кресло под ним тихонько поскрипывало от того, что он то закидывал правую ногу на левую, то наоборот, левую ногу на правую и всё никак не мог устроиться поудобнее, всё возился и крючил в кресле свою длинную спину...

– Зачем я тебе говорю всё это, Яков Эйзенерц? – не сводил с него отец своих прозрачных от болезни и страдания глаз. Он водил глазами по Эйзенерцу, как будто бы с трудом, сквозь какое-то препятствие рассматривая его. – Затем, чтобы ты понял: всё, что жизнь даёт нам, она потом и отнимает. Все, глядя на меня, думают: я богат, почитаем друзьями и любим дочерью. Но всё это – одна лишь видимость. Жены у меня нет. Друзья мои разъехались кто куда и большинство из них уже давным-давно позабыли, как меня зовут... А дочь... Дочь, по правде-то говоря, только и делает, что озирается по сторонам, готовая в любую минуту прыгнуть прочь от меня в объятия любого мало-мальски подходящего жениха... У нас в этой жизни – говорю я тебе – нет ничего. Ничего! И отнять у человека жизнь – это значит навсегда оставить его богатым, любимым и бессмертным. Ведь пока человек жив – он теряет. Вспомни, как ты был богат в детстве, ребёнком, как много у тебя было всего! А теперь? Чего еще ты не потерял и не растратил из того, что у тебя было? А твои приобретения – не ничтожны ли они только потому уже, что дались тебе слишком дорогой ценой, которая сделала эти приобретения тайными потерями?.. Что нам даётся даром? Ничего. Что отнимается вовремя и по справедливости? Тоже ничего. Что нам останется из того, что нам дорого? Опять ничего. Если б теперь ко мне пришел мой враг (у меня был один враг, но он уже умер – я по глупости своей отправил его к праотцам) – ну так вот, если бы он теперь пришел ко мне и сказал мне: «Я хочу забрать твою жизнь, раз уж мы с тобой всё-таки враги». Я ответил бы ему: «Бери! Да поторопись – иначе скоро тебе уже нечего будет брать, а мне – отдавать. Бери. Бери мои потери – всё, чем я богат!» Но он не приходит, вот в чём беда! Он не приходит – и не потому, что мертв и что успел на том свете позабыть обо мне. Он не приходит ко мне, потому что уже простил меня и благодарен мне: ведь именно я сделал его по глупости своей бессмертным и счастливым. А это, согласись, многого стоит...

Отец снова кашлянул, а Эйзенерц, глядя на него с мучительной тоской, опять подобрал со щеки ус, свитый в жгут засаленными после обеда пальцами. Он заново принялся крутить

этот много натерпевшийся сегодня ус, то заправляя его за ухо, то выпуская обратно болтаться на щеку.

– Одно меня тревожит: что будет с Августой... – продолжал отец. – Если я умру, то кто будет любить ее? Кто будет так бесконечно добр к ней, как я? Кто будет любоваться ее некрасивым лицом, кривым носом и черными, как чернильные пятна, глазами? Кто будет ухаживать за ее глупостью так, будто драгоценней этого нет ничего на свете?

– Да, – кивнул Эйзенерц с важным видом и добавил немного невпопад только чтобы хоть что-нибудь ответить ему: – С детьми во все времена было много хлопот...

– Ну а сейчас – дожил я и до этого – именно ей приходится нелегко со мной... – закрыл отец глаза. – Допустим, это я виноват в том, что избаловал ее. Когда она была маленькой, я разрешал ей всё: я разрешал ей даже сидеть у меня на плечах и писаться мне за шиворот – чего уж больше можно позволить, думал я. А ведь дошло до того, что она, дорастя до пятнадцати лет, отобрала у меня все ключи от дома, заперла все бутылки и винные бочки и называет меня «старый пьяница» – то есть, глядя в суть вещей, можно с уверенностью сказать, что она так и продолжает сидеть у меня на плечах и писаться мне за шиворот! Но вся беда в том, что она уже выросла – сомнений в этом нет никаких, ведь я видел недавно ее задницу, когда хотел выпороть ее за то, что она влюбилась в нашего садовника... Вернее, за то, что она чуть не сбежала из дома вслед за ним.

– Вот как? – оживился Эйзенерц.

– Ну да. Я хотел ее выпороть по старой памяти, но как увидел, что тамросло у нее под юбкой, понял, что начинается совсем новая жизнь... Это, скажу я тебе под большим секретом, – одна из самых великолепных розовых задниц, что я по тому или иному поводу повидал на своем веку. Она так удивительна, что даже само слово «задница» как-то не очень подходит ко всему этому. Господь здесь явно переборщил в усердии – может, он лепил какое-нибудь солнце, обливаясь слезами и вдохновением, а может, творил огромную головку первосортнейшего голландского сыру, замесив всё это густо, сочно и высоко-кругло. Жаль, что в конце концов он передумал и прилепил это туда, где оно и держится по сей день. Право слово, уж лучше бы он закатил Августину задницу не под юбку, а прямо ей на плечи – ведь от нынешней верхней Августинной головы нет никакого проку – а так была хотя бы красота...

Эйзенерц громко рассмеялся, задрав вверх худой подбородок.

– Да, вся беда в том, что Августа выросла, и я уже не могу удержать ее на своих старых плечах. Поэтому рано или поздно она свалится вниз, упадет и больно расшибется – не головой, так задом. Но поверить в то, что именно от этого – от моей любви и заботы – она сделалась такой глупой, я не могу...

– Ты несправедлив к ней, – добродушно улыбнулся Эйзенерц. – На самом деле она у тебя очень смышленная девица...

– Тебе так показалось. Бедная Августа действительно глупа. Глупость её не так бросается в глаза, потому что не очень попорчена образованием. Это – глупость в чистом виде, в виде прелести... При тебе она щебетала, как птица, радуясь новому человеку в доме, ведь нынче подле меня ей не много перепадает веселья... А вообще, ты ей понравился, судя по всему... Она была внимательна к тебе и услужлива. Да, понравился – больше объяснить это нечем, ведь Августа совсем не кокетлива. Ей не от кого было научиться этому. Да и перед кем здесь, у нас в глуши, кокетничать? Разве что перед оконной рамой... Хотя надо сказать правду, любимое её занятие – день-деньской торчать в окошке то с цветком на коленях, то с книжкой, то с кошкой в руках... Августа может часами сидеть около окна, и в глазах ее отражаются лес и дорога, лес и ворота, ворота и лес... А уж когда она влюбилась в этого проходимца садовника...

– Да ты, дружище, живешь здесь, как на пороховой бочке, – подмигнул Эйзенерц.

– Тебе легко улыбаться! – заворчался отец на смятых подушках. – Ты еще ничего не понимаешь в жизни.

– Да уж куда мне до тебя!

– Августа не изменила своей обычной глупости и влюбилась в него меньше, чем за две недели. Все признаки были на лицо: она плохо ела, плохо спала, глаза ее блеснули и глядели в разные стороны... Однажды она пришла ко мне и сказала почти через силу: «Папа, я придумала стихи». – «Поздравляю», – ответил я, а в груди у меня всё так и оборвалось. – «Но я не прочитаю их тебе», – вздохнула она. – «Зачем же ты так жестока ко мне, Августа?» – «Вряд ли ты что-нибудь понимаешь в стихах». – «Ну, довольно того, что я их выслушал бы – и, учти, выслушал от начала и до конца – а это в стихах уже половина дела, и половина труднейшая». – «Нет, я не буду тебе их читать. Ты опять станешь насмешничать». – «Не хочешь – не надо», – пожал я плечами. – «Ну, раз ты так просишь», – снова вздохнула она, – я всё-таки прочту их тебе, хотя поначалу была не расположена делать это». И она прочла мне свои стихи – жуткие, как бессонница, и такие же нескончаемые... День ото дня любовь Августы разрасталась всё больше и больше: черные ее зрачки светились любовным безумием, когда она глядела на садовника. Эти глаза сияли в темноте, как два жука-светляка, тихо ползающих по дрожащим и мокрым от любви щекам. А однажды она спросила меня: «Папа, ты знаешь, что такое любовь?» – «Нет», – честно ответил я. «А я знаю», – сказала она не без гордости. – «Ну скажи, не тай...» – «Любовь – это когда ты его любишь, и он тебя любит», – светясь, ответила она. «Всё правильно», – кивнул я. – А «плавать», к примеру – это когда ты плывешь в воде и вода тебя плывёт, так?» – «Ты смеешься надо мной!» – «Ничуть!» – «Есть вещи, которые легче делать, чем объяснять», – серьезно ответила мне Августа. – Как это вот твоё «плавать». И я понял, что нужно срочно прогонять садовника... Помнится, когда я нанимал его, я объяснил ему его дело так: «Дочь моя вошла в тот возраст, когда ей надо влюбиться».

– Разве есть такой заведомый возраст? – спросил Эйзенерц.

– У дураков – есть. Им на ухо шепчет это сама природа, и они, как сомнамбулы, начинают слепо идти вперед, вытянув руки. Первый, на кого наткнутся эти руки, будет схвачен для их любви. Я не хочу, чтобы руки моей дочери вцепились в негодяя, в проходимца, в ловца богатых невест или в чучело еще похлеще... Но в то же время женщинам, как известно, нужны постоянные упражнения в чувствах, иначе они делаются порочными или умными, что для них – особый род порока. Подобно тому, как домашняя кошка чешет когти об стену – бессмысленно и самозабвенно – точно так же женщина, молодая и глупая, чувствует в себе обязанность влюбиться в кого-нибудь. То есть просто побыть в кого-нибудь влюбленной: выпустить пар бесцельного своего существования, иначе пар этот, копясь без выхода в сердце, как в плотно закупоренном котле, в конце концов разорвет этот котел на куски... И я предложил тому малому – кажется, его звали Освальд – оказать мне и моей Августе эту маленькую услугу. Правда, сначала я объяснил ему разницу между любовником и возлюбленным, чтобы он от старания или по недоумию не перепутал бы одно с другим. Я сказал ему: «Разница между возлюбленным и любовником такая же точно, как между человеком, только еще обруганным, и человеком, уже до полусмерти избитым». О, я это всё очень хорошо ему объяснил!

– Да уж...

– Он должен был смотреть на неё да вздыхать – за это я заплатил ему очень хорошие деньги. Освальд оказался довольно сообразительным малым и стал по собственному почину – правда, за дополнительную плату – еще и бледнеть при виде Августы... Но прогнал я его вовремя, можешь не беспокоиться. Августе же я сказал, что Освальд неожиданно и без объяснения причин сбежал из дому. Она прорыдалась, хотела было бежать за ним вдогонку, но я запер её на полмесяца. Потом она, конечно, успокоилась, но еще какое-то время дулась на жизнь.

– А ведь ты сумасшедший, Баррет Лепек! – покачал головой Яков Эйзенерц. – С виду, конечно, не скажешь, но так оно и есть на самом деле...

– Я знал, что делал, – скривился он. – И я всё сделал правильно. Хотя ты даже и представить себе не можешь, что мне пришлось вытерпеть! Когда я сказал ей про сбежавшего садовника, она подняла на меня свои красные глаза. Глаза дрожали крупной, бессмысленной слезяной дрожью. Левый ее глаз распух от слез и постоянно мигал, но левая щека оставалась суха, только несколько мокрых выпавших ресниц прилипло к переносице. Зато из правого глаза потоком лились водяные струи. Обгоняя одна другую, эти слезяные струи криво-косо бороздили правую щеку, скатывались со щеки на подбородок, по подбородку перетекали на шею, с шеи – под платье, а потом, не прекращая своего движения и под платьем, неизвестно какими путями выкатывались через короткий рукав на голенькую тощую руку, бежали до острого, посиневшего от холода локтя и уже по локтю лились мне за шиворот. Августа битый час стояла, закинув правую руку мне на шею и рыдала в три горла. Ее горячие, липкие слезы бежали, как по желобу, по этой запрокинутой руке снизу вверх и заливались в самое мое сердце. «О, папа! – сказала Августа, распухшая от рыданий, как мертвая мышь. – Он совсем не любил меня. Сделай же что-нибудь, ты всё можешь». – «Что же я сделаю?» – «Всё, что хочешь!» – говорила она трясущимся голосом. – Главное, чтобы я перестала мучаться. Хочешь – убей меня. Но только поскорее, а то я не выдержу этого больше». Я как мог уговаривал ее и успокаивал, а сам думал между тем: «Пропади пропадом все эти женские штучки! Черт их разберет, что там происходит у них внутри и почему туда натолкано столько всяких слез и так мало хоть какого-нибудь ума...» Но прошло время, и всё сделалось по-моему. Августа успокоилась, и мы зажили как раньше... Зато теперь она – настоящий клад для будущего мужа. Она немножко хлебнула горя, и после ее смешных бед у нее отвалился от сердца большой кусок глупости – и глупости самой опасной из всех остальных и многих женских глупостей. Теперь она будет ценить своего мужа, каким бы он ни был, будет смотреть ему в рот и слушаться его. Вся любовная дурь выветрилась из ее головы. Я уже давно начал подыскивать для нее пару. Но вот, видишь, мне немного не хватило на это времени... Очень может быть, что совсем скоро я отправлюсь на тот свет и сделаюсь никому-никто.

– Вряд ли так скоро, как тебе кажется, – вздохнул Яков Эйзенерц, прослушав не перебивая от начала и до конца всю эту историю. – Такого старого и глупого осла, как ты, не так-то просто свалить с ног.

– Времени мало, – покачал головой отец. – Одно меня тревожит: что будет с Августой... Если я умру, то кто будет любить ее? Кто будет так бесконечно добр к ней, как я? Кто будет любоваться ее некрасивым лицом, кривым носом и черными, как чернильные пятна, глазами? Кто будет ухаживать за ее глупостью так, будто драгоценней этого нет ничего на свете? Теперь я жалею, что тянул с этим. Но мне хотелось подыскать Августе в мужья достойного человека, чтобы он был ей защитой, чтобы он хорошо к ней относился... Вообще, любить дочерей – ничемное занятие. Это и глупость, и мука, и черт знает вообще что такое. Ведь рано или поздно дочь уйдет к жениху, к мужу, к любовнику... Это закон природы, и как всякий закон природы, он касается двоих и к одному из них несправедлив. Дочери, влюбляясь, забывают отцов. Влюбляясь, дочери забывают вообще всех, но забывать отцов – какое бесполезное и дурацкое предательство!.. Знаешь что, Яков Эйзенерц, а почему бы тебе не жениться на Августе?

– Мне?!

– Ну да, – кивнул отец. – Я специально велел разыскать тебя, чувствуя, что конец уже близок... Конечно, ты – это не совсем то, что ей надо. Ты – фанфарон, гуляка да еще вдобавок тоже глупец. Но что ж делать! Я даю за ней хорошее приданое – Лепек и всё, что в нем и около него. Это, согласишься, щедрое приданое.

– Да уж, – очумело произнес Эйзенерц.

– Характер у Августы, признаться, не очень хорош – не самый лучший из тех, что положен дурочкам: она девица скрытная и себе на уме... Но зато она тиха, расторопна и услужлива.

Вдобавок у нее прекрасный зад – крупный и красивый, что, согласишься, тоже немаловажно. Она нарожает тебе сколько хочешь прекрасных здоровых детей...

Эйзенерц тревожно вслушивался в это бормотанье и мрачнел минута за минутой всё больше.

– Что?– закашлялся отец.– Ты, может быть, скажешь, что она не очень-то удалась лицом? Это, конечно, вполне так. Этого я отрицать не собираюсь ни теперь, ни потом. И тут уж, согласись, мало что исправишь. Но, с другой стороны, в семейном деле это даже к лучшему. Никто, кроме тебя, не будет хотеть ее – ты будешь жить с ней в полном спокойствии, и твои дети будут походить на тебя, а не на соседа. Умный человек должен это ценить... Ну, что ты там еще раздумываешь? Или ты не всё расслышал из того, что я сообщил тебе?

– Я всё расслышал, будь спокоен на этот счет... Но, видишь ли, – Эйзенерц завожился в кресле и беспомощно оглянулся на дверь, – я пока совсем не думал жениться. Мне даже в голову это не приходило, понимаешь?

– Ну, тебе не приходило – мне пришло. Женись, говорю я тебе, пока не поздно. Или ты не доверяешь мне? Ты, может быть, думаешь, что я способен как-нибудь одурачить тебя, обмануть своей личной выгоды ради? Или, может быть, ты надеешься в этих делах на свой собственный ум, которого у тебя никогда не было, да и теперь, я гляжу, нет... Женись, повторяю я тебе, Яков Эйзенерц, тебе давно уже пора. Это, поверь, самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать в своей бестолковой жизни.

– Да что ты, в самом деле, заладил, как кукушка, женись да женись! – Эйзенерц вскочил и ногой оттолкнул от себя кресло. – Я, между прочим, твою девицу вижу первый раз в жизни, а тебя, старого осла, бог даст, что и в последний. И ни то, ни другое для меня не причина, чтобы ни с того, ни с сего очертя голову кидаться в церковь.

Отец снова закашлялся, и уже не скоро этот кашель отпустил его. А Яков Эйзенерц ходил туда-сюда вдоль его кровати, и его накрученный ус воинственно торчал вверх.

– Ну скажи, что ты привязался ко мне, а?– нагнулся он над изголовьем кровати.– Что там у тебя в больной башке повернулось и обо что зацепилось, что ты пристал ко мне, как с ножом к горлу с этой своей Августой? Ну проси от меня что хочешь, хоть луну с неба проси – достану, ногти обломаю, а достану. Хочешь, лекаря к тебе приведу самого лучшего? Хочешь, сиделок нагоню полный дом? Хочешь, сам, прямо сейчас поеду по окрестностям искать жениха для твоей Августы да и найду за три дня любого, какого скажешь! Да с её-то приданым! Хочешь? Нет?.. Молчишь, черт упрямый!

– Мне любого не надо, я выбрал тебя,– глухо сказал отец.

Яков Эйзенерц рухнул в кресло и вытер рукавом вспотевший лоб.

– Ну что я с твоей Августой буду делать, а? Посуди сам, что?

– Известно что,– всё никак не унимался отец.– Сам знаешь, что.

– Да и куда я женюсь? Ты же знаешь мою мать!

– Тебе тридцать пять лет, ты давно уже сам себе хозяин. А мать твоя будет только рада, что наконец-то отделалась от тебя. Ты за тридцать-то пять лет успел ей порядком надоесть своим непроходящим остолистством...

– Вот уж, право слово, упрямая же ты скотина после этого, Баррет Лепек!

– Женись, я даю свое благословение.

– Да на черта мне твое благословение!– снова вскочил Эйзенерц.

– Ты вот что... ты сядь-ка, не мельтеши туда-сюда и послушай меня.

Яков Эйзенерц сел и снова схватил себя за ус.

– Я уже видел их,– сказал отец.

– Кого?

– Их. Они приходили за мной раза четыре, но всякий раз Августа входила ко мне со своими травами да отварами – и они исчезали. Теперь один из них висит вон там, у притолоки, а другой прячется за твоим креслом...

Эйзенерц растерянно оглянулся.

– Они приходят всегда по двое. А вчера под вечер я... Да, уже вечером... Если б ты знал, как хорошо дожить до часа, когда поленья в камине подёрнулись синим светом... синим... синим светом...

– Баррет? – покосился на него Эйзенерц.

– Я закрыл глаза и чувствовал, как стоит надо мною мир. Только очень уставшие люди чувствуют, как стоит над нами мир. У меня не было сил поднять веки. Но я знал, что прямо за моей спиной торчит край кровати, как край земли... Тогда-то вот я с ними и заговорил. И они рассказали мне всё – мне уже можно... Да, я выпросил у них обо всём помаленьку. Я спрашивал про всех, кого только мог припомнить – но главное, конечно, про Августа... – он закашлялся и, кряхтя, приподнялся на локте.

– Да уж лежи ты, вояка, – остановил его Эйзенерц и поднял с пола выпавшую подушку.

– Я кое-что видел в щелку, понимаешь? Они показали мне. Совсем чуть-чуть... Сейчас там у них весна, солнце... Ноги у ангелиц на солнце блестят, как листья... Сидят они рядком на огромной липе, которая цветет издалека, еще с холма, как идти туда. А окно у них старое и такое пыльное, что по стеклу прыгают тени от листьев...

– Может, ты устал, Баррет Лепек? – встревоженно завозился Эйзенерц в своем кресле. – Может, тебе надо немного отдохнуть? Ведь ты болтаешь, как балаболка, уже целый час...

– Ерунда, – отмахнулся отец. – Просто я хочу сказать тебе сейчас, что Августа будет тебе хорошей женой, не сомневайся... Она родит тебе четверых сыновей, таких же крепких и глупых, как ты, а сам ты будешь жить, зацепившись за ее жизнь и, конечно, не понимая этого. Ты будешь вполне счастлив и по глупости своей не заметишь, как будет мучаться с тобой она. Но я на тебя не в обиде, ведь это и есть семейное счастье: один постоянно дует в ухо другому, а другой только стоит да морщится... Стоит да морщится...

Эйзенерц, поблуднев, медленно поднялся... Но тут уже я сама толкнула дверь и вбежала в комнату – отец был в беспамятстве. Яков Эйзенерц, пятясь, выскочил прочь.

Потом, час спустя, когда приступ у отца закончился и он, наконец, заснул, я спустилась вниз. Эйзенерц прохаживался у ворот, теребя в руках шляпу. Он наковырял во дворе множество ямок каблуками своих сапог, подбитых железом.

– Ну что, как там? – подступил он ко мне.

– Всё нормально. Он спит.

– Вот уж не знал, что он так плох...

– Да, – кивнула я.

– Я сейчас еду в Наутхейм по делам матери...

– Счастливого пути.

– На обратной дороге я снова заеду проведать как тут у вас и что, – скосил он глаза в сторону.

– Не стоит, – слишком, может быть, поспешно сказала я. – Он очень волнуется, когда видит вас. Это ему вредит.

– Ну что ж... – вздохнул Яков Эйзенерц, стараясь скрыть облегчение и еще больше кося глаза в сторону, – значит, в другой раз, когда дела его снова наладятся...

– Да, когда наладятся, – повторила я. – И, прошу вас, забудьте всё, что он, может быть, наговорил вам. Он уже давно не в себе.

– Конечно, – заставил себя улыбнуться Яков Эйзенерц. – Ему сейчас нелегко...

– Хотите немного вина в дорогу? – предложила я, обрывая неприятный для нас обоих разговор.

- Пожалуй,– оживился он.– Вино у вас отменное.
 - Его привез отец из испанского похода... Можете взять с собой пару-другую бутылок.
 - Не откажусь. Возьму, сколько смогу унести, ладно?
 - Сколько сможете унести и еще три про запас, когда три в дороге разобьются...
- Он улыбнулся и пошел к своим лошадям.

Август, я запомнила, в том году был долгий и жаркий, а потом и осенью до ноября всё не было и не было дождей – и листья долго лежали на земле сухие, пока все, наконец, не искрошились в золотую пыль шагами и ветром... В следующем августе началась война... В августе же не состоялась наша свадьба с Мариусом – я отказалась от этого, не объясняя никому настоящей причины... В другом августе Мариус вдруг бесследно пропал... В начале прошлого августа был сожжен Наутхейм – он горел всю ночь, и зарево от пожаров было видно даже в Лепеке. Тогда-то почти все и сбежали от нас – и мы остались здесь совсем одни... А этот новый август, который только начался – что ждет нас впереди? И вообще, не лишним ли в году выходит месяц август? Было бы гораздо спокойнее: июль – июль – сентябрь... Да, июль – июль – сентябрь... Как говорит Оскар Легниц, в нашем календаре изначально слишком много неправильностей: лето коротко, осень скучна, зима холодна и всегда внезапна, а весна мимолетна...

– На вас не угодишь,– ответила я ему.

– А знаете, дорогая Августа, никто никогда и не пытался угодить мне – ну хотя бы в какой-нибудь мелочи, в ничего не значащем пустяке... Даже природа не удосужилась сосредоточиться на несколько не самых длинных мгновений, лепя мой облик во чреве матери. Видите – один глаз у меня выше, чем другой. Тому, кто со мной разговаривает, время от времени кажется, что я подмигиваю ему. А теперь спрашивается, стали бы вы серьезно относиться к человеку, который постоянно подмигивает вам?

– Нет, пожалуй,– улыбнулась я.

– Всё правильно. И я тоже. Поэтому когда я вынужден вести важные переговоры, касающиеся моих дел, я стараюсь, чтобы собеседник не глядел в моё лицо и отворачиваюсь для этого то вправо, то влево. Но опять-таки, станете ли вы обсуждать важные вопросы с человеком, который всё время вертится перед вами, или, еще того хуже, стоит к вам спиной?

– Нет,– еще раз улыбнулась я.

– И что же мне делать?

– Даже не знаю, что вам и посоветовать.

– Я решил договариваться обо всех своих важных денежных делах в таком деловом и очень серьезном полумраке, чтобы собеседник не мог разглядеть, что один глаз у меня на лбу, а другой – на щеке. Я так и сделал однажды. Но в темноте меня обсчитали и обобрали, и когда я вышел на свет, оказалось, что после этих переговоров я стал беднее года на три.

– Бедный господин Оскар!– я снова не смогла сдержать улыбки.

С Оскаром Легницем всегда было так: он старался забавлять меня, чтобы мне не было скучно. Он следил за мной своими внимательными глазами – глазами, действительно, не совсем обычными, – и как только ему казалось, что я грущу, он тут же придумывал какой-нибудь забавный пустяк, какую-нибудь небылицу и затевал об этом пустяке целый разговор или даже спор. Пустяк мгновенно обрастал историями, разговор катился под гору, как снежный ком, а Оскар Легниц, размахивая руками, громоздил всё новые и новые подробности. Беседа затягивала нас обоих – я слушала и, конечно, не соглашалась с ним, но отмалчиваться получалось недолго: медленно и верно я заражалась сорной болезнью спора, который всегда захватывал меня врасплох – и я, не успев сообразить когда и зачем, оказывалась втянутой в это пустопорожнее болтание, быстро забывая свои печали... Это болтание спасало меня от хандры, и всё вставало на свои места: июль – июль – август...

С Яковом Эйзенерцем всё было совсем по-другому: с ним я чувствовала себя скованно – я была уверена, что он не забыл тот разговор, когда отец упрасивал его взять меня в жены и

ему, бедняге, пришлось всеми правдами и неправдами выпутываться из этой неприятной истории. Сам Яков Эйзенерц тоже избегал вести со мной долгие беседы. А когда ему всё-таки приходилось видеть меня и поневоле говорить со мной, он всегда косил глаза в сторону, говорил отрывисто и рассеянно дергал себя за болтавшийся ус. Наверное, он подозревал, что я могла как-нибудь слышать тот разговор и все его яростные отказы, и ему тоже делалось неловко. Он сердился на себя, что всё время забывает забыть про всю эту чепуху, хмурился, дергал себя за ус, но потом, когда натыкался на меня, снова вспоминал это и снова сердился, что вспоминал... Июль – сентябрь – сентябрь...

– Хорошо, хоть вы меня жалеете, – продолжал Оскар Легниц, опять быстро и верно обрывая ноту грусти в моих мыслях. – Знаете, в чем главная моя беда?

– В чем же? – я внимательно поглядела на него, стараясь вспомнить, о чем мы только что с ним говорили.

– В том, что с такими глазами мне не везет и в делах любовных, что, согласитесь, очень печально. Ни одна женщина не способна выслушать признание в любви от человека, глаза которого расположены не слева направо, а сверху вниз. Уж сколько раз я проверял это! Я начинаю говорить даме о своих чувствах – но она просто не в состоянии сосредоточиться на том, что я ей говорю: она всё время переводит взгляд с моего нижнего глаза на верхний и обратно, решая, должно быть, каким именно глазом я на нее смотрю и какому глазу строить глазки...

Я взглянула на него, улыбаясь, и подумала: «Неужели на самом деле один глаз у него выше, чем другой?.. Похоже, что действительно так, особенно теперь, когда я смотрю на него немного сбоку... И почему раньше я этого не замечала? Наверное, потому, что раньше он сам не говорил об этом – приберегал эту шутку для какого-нибудь особого случая, особого дела или особого разговора, а теперь от скуки выболтал просто так, без всякой надобности... Наверное, он считает меня глупой, раз всё время говорит со мной о каких-то пустяках и несуразностях... Или просто у него такой характер, что если с утра он не увидит возле себя десять улыбающихся лиц, то у него самого портится настроение. Вот он и старается с каждого, кто встречается ему в доме, на лестнице, в саду или в кухне – всё равно где – во что бы то ни стало получить улыбку. Десять улыбок – и утро будет хорошим. Пять улыбок – явный недобор и быть дождю или граду...»

А вслух я сказала:

– Может быть, господин Легниц, в своих любовных делах вам следует быть более кратким? Тогда у дамы не будет лишнего времени, чтобы разглядывать вас – и, следовательно, лишних сомнений, чтобы отказывать вам.

– Вы думаете?

– Конечно.

– «Я вас люблю» – и всё?

– И всё.

– Это слишком коротко – «я вас люблю».

– Ну и что.

– «Я вас люблю» она не заметит.

– Тогда повторите.

– «Я вас люблю»?

– Да.

– Она не обратит внимания.

– Ну, тогда еще раз скажите – язык у вас, конечно же, не отвалится от этого, не правда ли?

– Правда. Я вас люблю.

– Вот так.

– Ну а если она и тогда меня не услышит?

– Значит, она глуха, и с чистой совестью оставьте ее в покое.

– А если я не хочу оставлять ее в покое? И даже совсем наоборот...

– Что ж... Тогда, пожалуй, можете просто поцеловать ее. Я думаю, уж этого-то она не сможет не заметить.

– Я тоже так думаю.

И тут он наклонился и поцеловал меня, обняв так крепко, что у меня перехватило дыхание. Я поспешила отвернуться от него как можно скорее... И от удивления всему этому – да, должно быть, от удивления – я на удивление спокойно поглядела на него, сморгнув ресницами ужас всего случившегося, а потом неожиданно для себя сказала что-то уж совсем странное и никчёмное... Кажется, я сказала: «Вот так да!» или, может быть: «Вот так-так!» (что было бы, конечно, гораздо хуже, чем просто «Вот так да!», но намного лучше, чем, например, «Вот уж ну и ну!», чего тоже нельзя исключить). Но допустим всё же, что я сказала «Вот так да!» – хотя было бы гораздо лучше, если бы никакие из этих и им подобных глуповатых восклицаний и вовсе не слетали бы с моего языка...

– Вот так да! – я перевела дух и еще раз взглянула на него снизу вверх: – Вот уж не думала, что вы так быстро последуете моим советам, которые, можете в этом не сомневаться, носили самый отвлеченный характер.

– Вы сами научили меня, что делать.

– Я не имела в виду себя.

– А я имел в виду именно вас. И только вас.

– Согласитесь, господин Легниц, что вы ведете себя не очень-то достойно и ставите меня в неловкое положение этими своими... хм... не знаю, как и назвать... этими своими неожиданными поступками, – я была сбита с толку всем произошедшим, и от растерянности слова безостановочно сыпались из меня, как гвозди из дырявого мешка. – Как честная женщина, я должна была бы, пожалуй, как-нибудь наказать вас... ну, или не знаю что еще... И я даже не понимаю, с чего бы вдруг вам вздумалось всё это... А ведь я считала вас почтенным человеком, уважала, как старого друга моего отца...

– Не называйте меня, пожалуйста, старым. И тем более – другом. А особенно прошу вас – перестаньте меня уважать. Я не хочу, милая Августа, чтобы вы меня уважали. Всего лишь уважали! Я хочу от вас совсем другого...

– Что ж, можете быть совершенно спокойны на этот счет: уважения моего вы вот-вот лишитесь, особенно, если будете продолжать в том же духе... А вдруг нас кто-нибудь увидел бы в таком, прямо скажем, очень странном положении?

– Будьте спокойны, сюда никто не посмеет войти.

– А Робин? А слуги!

– Никто.

– Почему вы так уверены? А может быть, для вас ничего не значит репутация женщины, которую застанут прямёхонько на ваших орденах?

– Репутация любой женщины, поверьте, для меня священна, ну а ваша – в особенности. Именно поэтому я и повесил на дверях табличку: «Просьба не беспокоить. Я давно люблю мою Августу и сейчас хочу сказать ей об этом».

– Вы в самом деле написали это? – ахнула я.

– Нет, конечно, – улыбнулся он. – Но очень жалею теперь, что эта мысль не пришла мне в голову раньше – пожалуй, стоило бы обзавестись такой табличкой, но только повесить ее не с той стороны двери, а с этой. Повесь я ее здесь, вы, прочитав надпись, может быть, обратили бы на меня своё внимание...

– Ах, как всё это нелепо!

– Пожалуй, что действительно нелепо. Я, видите ли, шел делать вам предложение руки и сердца и...

– И надели для этого все ваши ордена?

– Я считал, что они как-нибудь да украсят меня и помогут вам ответить «да».

– Вряд ли эти ордена сослужат вам такую службу,– ответила я со вздохом.– Хотя их, конечно, очень много, это надо признать. Они все с этой войны?

– С этой. Я собрал их со всех моих друзей, которые сражаются рядом со мной. Я сказал, что, отправляясь на поправку здоровья после моей раны, я все-таки решусь признаться в любви девушке, которую люблю уже слишком давно, чтобы сомневаться в истинности своего чувства... Все они наперебой кинулись расспрашивать меня, как и что. Я стал рассказывать им про Лепек, как я вернусь туда после войны... А они спрашивают меня: «И что это за Лепек такой?» Ну, я подумал и ответил: «Лепек – Августин дом». – «А Августа тебе кто такая?» Я снова подумал – и такая выходит штука, что вы, Августа, мне – совершенно никто. Пока никто. Но надо спешить, решил я, пока Августа – никому никто, иначе меня кто-нибудь опередит и будет уже поздно. Объяснять всё это было долго, и я сказал: «Августа – это та, кто откроет мне дверь». И вот, оказался прав. Так оно и вышло нынче, как, впрочем, и всегда. «Да что это за девушка, в конце концов?» – обступили они меня со всех сторон. «О! Это поистине необыкновенная девушка!»– ответил я им.– Девушка с черными, как чернильные пятна, глазами...»

– Неужели вы так и сказали, про чернильные пятна? – нахмурилась я.

– Так и сказал,– развел руками Легниц.– Что ж делать, я всегда говорю правду и ничего не могу поделать с этим даже ради вас.

– Надо же! Чернильные пятна! Услышав это, ваши друзья, наверное, не очень-то порадовались за вас. Они пожалели вас, да? «Бедняга Легниц,– сказали они,– ехать к какой-то девице, у которой глаза – как плошки, до краев наполненные чернилами... Наверное, когда она плачет, из плошек вытекают черные слезы, и бегут они не как у всех прочих девиц – кап! кап! – а слева направо, как и полагается чернилам, и сами собой укладываются на ее щеках в строчки... А после, сидя перед зеркалом, она списывает со щек эти строчки, чтобы было куда плакать следующие...» Можно узнать, что еще вы наговорили про меня вашим друзьям? Ведь чернильными кляксами разговор не закончился, верно?

– Верно,– кивнул Оскар Легниц.– Они стали так наседать на меня, что мне пришлось почти всю ночь напролет рассказывать о вас.

– Что, интересно, можно рассказывать обо мне всю ночь напролёт?– присела я рядом с ним.

– Много чего. Я же знаю вас еще с тех пор, как вы были ребенком. Может быть, я знаю о вас всё.

– Даже так?

– А почему бы и нет?– Оскар Легниц взял в свою ладонь мою руку и сказал, не отрывая взгляда от моих глаз:– Ваши родинки – вот эти, от мизинца к запястью, напоминают созвездие Рака: вот Аселус Бореалис, вот Аустралис, самая большая звезда созвездия, вот Акубенс – Альфа и Бета. А эта венка,– он ощупью пробрался пальцами по моей ладони,– эта венка проходит сквозь созвездие, как эклиптика...

Я осторожно отняла у него свою руку.

Он встал, подошел к окну с запотевшим стеклом – несмотря на август, топили жарко, потому что осень была ранняя, и ночи становились всё холодней и холодней... Рамы к утру покрывались инеем.

– И еще я знаю, что прямо вот под тем кружевом на ваших плечах скрываются Плеяды из созвездия Тельца...– пальцем по запотевшему стеклу он набросал несколько отрывистых точек.– Похоже на то, что небо – это всего лишь крашеный забор с незастывшими брызгами звезд, и вы, прогуливаясь, как-то раз неосторожно прислонились к нему, унося на плечах и пальцах золотистые оттиски...

– И откуда вы знаете про... про созвездие Тельца?– спросила я, закутываясь плотнее в свою шелковую накидку.

– Я же сказал, что знаю о вас всё.

– Ну ладно, – решительно поднялась я. – Я, конечно, благодарю вас за оказанную мне честь... или как там всё это говорится...

– Так и говорится, – кивнул он.

– ... но просто всё это немного... ненужно. Вам так не кажется? – подняла я на него глаза.

– Не кажется.

– А именно так оно и есть, – снова вздохнула я. – И совершенно непонятно, по какой такой причине и почему вдруг именно теперь вы затеяли всё это... Уж извините меня, дорогой господин Легниц, но... совершенно непонятно!

– Да что же здесь непонятного, милая моя Августа! – покачал он головой. – Просто вы должны сказать мне «да». В этом, поверьте, нет ничего особенного – в том, что вы скажете мне «да». Сейчас идет война, и скоро меня здесь снова не будет. А вы останетесь. И уже потом, когда всё закончится и я вернусь в Лепек, вы встретите меня совсем не такой, как сейчас. Вы постепенно привыкнете к тому, что один глаз у меня – вверх, а другой – вниз... Может быть, мысль о том, что вы сказали мне «да», приучит вас вспоминать обо мне немного чаще, чем никогда.

– Боже! Какие несуразности вы говорите!

– Я уже давно думаю о вас. Если глаза у меня где попало, то сердце, уверяю вас, на верном месте... Вы скажете мне «да»?

– Нет, господин Легниц. Я не могу вам этого сказать, ведь я вас совсем не люблю.

– Всё правильно. Так и должно быть.

– Что так и должно быть? – не поняла я.

– Вы не любите меня, потому что не замечаете. Как можно любить то, чего не видишь? Что не существует! Ведь я, Августа – из породы незаметного. Следует это признать... Возьмем, к примеру, воздух. Он есть, он нужен, он необходим – и при этом его никто никогда не замечает. Люди говорят: «Я люблю зиму. Мне нравится гроза. Меня волнуют закаты и соловьиные трели...» Пусть так. Но кто скажет: «Я в восторге от воздуха. Я так его люблю!» Но когда воздух поднимается ввысь и становится небом, его замечают все: им любуются – синим, безоблачным, им восхищаются – темным, блестяще-звездным... Я хочу стать для вас небом, милая моя Августа. И я смогу сделать это – стоит только мне услышать ваше «да».

– Сказано, конечно, красиво, но ведь вы просите меня о невозможном.

– Я хочу рассказать вам одну историю, – он отошел от окна и снова сел возле меня. – Она имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору. Дело в том, что мой двоюродный дядя по отцовской линии страдал таким же «недугом», как и я – то есть, он был слишком незаметен для каких-либо чувств – и серьезных, и обычных. Он, правда, женился в конце концов, но из этого вышла странная история. Жена ему попала милая и добрая, но она постоянно забывала о его существовании... Вы скажете, явление среди современных жен вполне обычное? Так-то оно так, конечно. Но это была история совсем другого рода. Дело в том, что бедную женщину всегда отвлекали от мужа какие-нибудь важные дела – то вдруг родился на свет первенец, то он заболел, то выздоровел, то надо хлопотать о крестинах второго ребенка, то выдался плохой урожай, то третий сын подвернул ногу... Если в дом приезжало много гостей, моя тетка терялась и не могла среди них различить своего мужа. Она забывала его в лицо и очень мучилась этим. Вы снова скажете, что и это – обычное дело среди нынешних-то мужей... Но ведь я рассказываю вам особую историю и умоляю дослушать ее до конца. И вот супруги договорились, что муж моей тетки всегда будет одет во всё зеленое. И тетушка с облегчением подставляла щеку для поцелуя тому, кто был в зеленом среди гостевой толчеи... Но это было еще полбеды. По правде сказать, моя добрая тетушка всё время забывала про своего мужа тысячу важных вещей: что он просил на обед, когда его надо было разбудить, что он любил надевать, а что ему не нравилось... В конце концов, она даже повесила на кухонной

стене список примерно таких подробностей: «Мой муж любит абрикосовое варенье, но без косточек». «У моего мужа перед дождем ноет поясница». «Мой муж рано ложится спать, надо уводить детей подальше от его спальни до девяти часов». Однажды моя мать спросила её: «Как ты думаешь, что можно подарить Рудольфу на день ангела?» – «Какому Рудольфу?» – всполошилась тетушка, мысленно перебирая всех знакомых и родственников, которым она ежегодно отсылала поздравления к праздникам... «Ну как – какому! Твоему мужу, разумеется. Ведь все домашние зовут его, конечно, Рудольф?» И тетушка немедленно кинулась к своему списку на кухонной стене и написала там: «Моего мужа все зовут Рудольф». Позже, по истечении времени, стена эта была украшена такими записями: «Мой муж, бедняжка, почти совсем оглох». «Доктор прописал моему мужу компрессы из дубовой коры». «Мой муж не любит детей младшего сына – по его мнению, они дурно воспитаны». «Муж велел назвать первого своего правнука в его честь». «Муж скончался от сердечного приступа». «Не забыть разрушить осиное гнездо под окном спальни мужа, чтобы осы, залетая за занавеску, не мешали ему отдыхать». «Мой муж умер от сердечного приступа». «Наварить к зиме его любимого абрикосового варенья, но без косточек». «Заказать для мужа грелку, чтобы он прогревал в непогоду суставы». «Моего мужа часто называют Адольф – это касается родни из Эсхенбурга». «Мой муж умер от сердечного приступа». «Узнать, не дымит ли камин у него в кабинете?» «Мы с мужем приглашены в Наутхейм на ежегодный бал у герцога Лавансальского». «Мой муж умер от сердечного приступа». «Я любила моего мужа». «Мой муж кладет три ложечки сахара на чашку чая».

– Это анекдот! – сказала я, дослушав. – На свете не может быть людей, которых бы совсем не замечали.

– На свете чего только не бывает! И скажу вам больше, милая Августа, такие люди не очень уж большая редкость, как может показаться на первый взгляд. Ведь людей на земле год от года становится всё больше, и на всех у матушки-природы просто не хватает красок. Но быть незаметным человеком, милая Августа, совсем не так плохо, как вам кажется. Конечно, незаметного человека не замечают, не помнят и почти не знают – это так. Но, в сущности, мой дядюшка прожил счастливую жизнь. Да, его мало кто замечал, но зато и не было замечено, что он глуп и сварлив – а он таким и был! Не было замечено, как он мучил свою добрую жену придирками, а детей – наставлениями. Жена не замечала, как он плох, потому что не замечала его. Она не заметила, как привыкла к нему, не заметила, как он умер, и в конце концов не заметила, как успела его полюбить. Мой дядюшка стал любимым и бессмертным, а это, согласитесь, удастся далеко не каждому.

– Не пойму, когда вы серьезны, а когда шутите.

– Я всегда говорю очень серьезно.

– Может, вы станете утверждать, что странная история вашего дядюшки-невидимки – чистая правда?

– Конечно. Мы с моим дядюшкой принадлежим к той особой породе людей, до которых никому в конечном итоге нет дела. Мы – никому никто.

– Я не это имела в виду, – смутилась я. – Что касается меня, я вас отлично замечаю, но только как старого друга нашей семьи, и не больше...

– Опять вы сказали – «старого» и «друга».

– Что ж, простите. Я забыла, что с некоторых пор вам это неприятно.

– Запишите на стене: «Мой будущий муж не любит, когда его называют «старым другом», а то вы постоянно будете забывать это, как уже, несомненно, забыли, что я только что говорил вам о своей любви, что я поцеловал вас...

– Я этого не забывала! – почти возмущенно ответила я. – Просто вы постоянно отвлекаете меня от сути разговора и заставляете меня спорить с вами по каким-то нелепым поводам...

– «Отвлекать», «не обращать внимания», «не замечать», «не помнить» – это одно и то же. И в этом нет никакой вашей вины, наоборот. Это в порядке вещей, когда речь идет обо мне – невидимке для вас, как почти для всех.

– Вы очень всё это преувеличиваете, господин Легниц.

– Я? Преувеличиваю? В таком случае, милая Августа, вот вам очень легкий вопрос: сколько времени я гощу в вашем доме?

– При чем тут это?

– Ответьте, прошу вас. Ведь это несложный вопрос.

– Ну, два дня, – неуверенно сказала я.

– Два дня? – переспросил Легниц, пытливо глядя на меня.

– Два... Впрочем, нет. Пять. Пять дней, не больше, – твердо ответила я.

– Я приехал к вам только сегодня утром, милая моя Августа, – улыбнулся Легниц.

– Не может этого быть!

– Пять дней назад я еще прощался со своими солдатами.

Мне почему-то стало очень стыдно:

– Простите меня, дорогой господин Легниц, я не хотела вас обидеть...

– Вы совсем не обидели меня. Я, повторяю, давно привык к тому, что все вокруг почти всегда не находят времени меня помнить...

– Простите. Я сказала «пять дней», потому что не сосредоточилась. Мне стоило бы подумать об этом серьезнее.

– Вы хорошо сделали, что сказали «пять дней». Ведь не замечать человека можно в две стороны: не замечать, будто его и вовсе нет, и не замечать так, словно он есть всегда и никуда уже не денется. Вы не замечаете меня вторым способом.

– Нет, я не буду со всем этим соглашаться, – замотала я головой. – Неужели же, по вашему мнению, я способна относиться к человеку, как к пустому месту?

– Это касается только меня, Августа. Только меня. Потому что только я из всех окружающих вас людей – пустое место. Даже слуги частенько – и не по своей вине, конечно, – проносят мимо меня кушанья и вина. Но у этого моего свойства есть и хорошие стороны. Так, пушечные ядра всегда пролетают вдалеке от меня, в какой бы гуще сражения я ни находился...

– Вы можете спросить меня еще о чём-нибудь. Потруднее. Я обещаю вам сосредоточиться и ответить.

– У вас не получится, можете мне поверить.

– Получится. Ну же?

– Что ж... хорошо. Закройте глаза.

– Как вам будет угодно.

– А теперь скажите, какого цвета мои волосы. Иначе говоря, блондин или брюнет тот человек, которого вы уже полчаса не замечаете гораздо внимательнее, чем обычно.

– Я поняла. Сейчас. Не отвлекайте меня.

– Хорошо. Я молчу.

– Можно потрогать вашу голову?

– Можно, если это облегчит ваш труд. Но, по правде сказать, это было бы не совсем честно, ведь если я лыс, то вы сразу же поймете, что я лыс, и скажете, что волосы мои и вовсе не имеют никакого определенного цвета по причине их отсутствия.

Я поспешно отдернула руку.

– Вы правы. Я и так смогу ответить... А что, вы можете быть лысы?

– Почему бы и нет? Всё-таки, согласитесь, я – старый друг вашего отца. Да и на свете немало лысых мужчин.

– Но вы не лысы, конечно. Вы упомянули про лысину, чтобы сбить меня с толку.

– А разве в этом есть необходимость?

- Не мешайте.
- Как угодно.
- Вы брюнет.
- Это и есть ваш ответ? Вы в этом уверены?
- Да... а почему вы таким странным голосом спросили, уверена ли я?
- Я просто спросил.
- Значит, вы блондин?
- Но вы же сами сказали, что я – брюнет.
- Нет, вы – рыжий. Слегка рыжий. Но местами, на солнце, очень похожи на блондина, а в тени – почти совершеннейший брюнет.
- Браво. Вы, оказывается, очень ловкая особа.
- Я права?
- Местами.
- Я открою глаза?
- Пожалуйста.
- Да на вас шлем!
- Я собирался уже уезжать от вас и даже, скажу больше, успел-таки отъехать довольно прилично по направлению к Наутхейму. Но дело в том, что нынче вы так и не вышли меня провожать, и я, раздумывая об этом по пути, решил хотя бы на этот раз не пускать всё на самотёк и повернул коня, чтобы всё-таки проститься с вами. А что из этого вышло – вы знаете.
- Снимите, пожалуйста, шлем. Из-за него мне ничего не разглядеть.
- Нет.
- Я прошу вас!
- Нет. Я не вижу в этом никакой необходимости. Да и мне, согласитесь, уже давно пора ехать.
- Снимите шлем, я просто разок взгляну.
- Прощайте, милая моя Августа.
- Если вы уедете сейчас, так и не сняв шлем, то я... я останусь здесь и буду мучаться чувством вины. Мне не будет покоя, уж я-то себя знаю! Из ваших слов и поступков следует, что я – довольно легкомысленная, а вернее сказать, чёрствая особа. Это и несправедливо, и обидно. Ведь я на самом-то деле очень много про вас знаю и помню.
- Неужели?
- Я помню, что вы не любите, когда я называю вас «старый друг».
- Раз.
- Помню, что был поцелуй.
- Два.
- Помню, что вы обещали снять шлем.
- Я не обещал.
- Хорошо, не обещали.
- Три. И это всё, по-вашему, что следует обо мне помнить?
- Н-нет... Нет, конечно... – заколебалась я. – Просто долго перечислять.
- Что ж... один раз сегодня я уже отложил свой отъезд, так что теперь нам торопиться некуда.
- Ну... еще... Ах, да! – с облегчением воскликнула я. – Вы рассказывали мне про Плеяд из созвездия Тельца. И рассказывали довольно верно, если не считать кое-каких неточностей, – я обмакнула палец в вино, остывающее в моём бокале, и набросала несколько отрывистых точек, застывших каплями на дубовой, чёрной от времени столешнице: – Вот так, похоже на гроздь белой смородины, только самой мелкой, растущей у отца в саду на тенистых задворках... Вы

упустили несколько самых нижних ягод...– я проложила по каплям дорожку почти к самой его руке.

– Всё?– спросил он, подхватил мизинцем эту дорожку и завернул её обратно к моему бокалу – получился хвост ящерицы, греющейся на солнце...

– Нет, не всё.

Я думала еще минуту или две, аккуратно подрисовывая винной ящерке две пары ножек и голову, которой она озиралась на Оскара Легница.

– Не всё, конечно,– сказала я, вздохнув, и определенно не зная, что же сказать дальше.

– Ну что ж...– встал из-за стола Оскар Легниц и подошёл к креслу, на которое были брошены его перчатки...

– Нет-нет,– поспешно остановила я его. Мне было жаль проигрывать просто так и ни за что ни про что наш странный разговор:– Подождите... Вот еще что...

Винная ящерка на столе мигнула упавшей на неё сверху лишней каплей с моего пальца и тут же растеклась, запачкав мне ладонь.

– Вот еще что,– незаметно вытирая руку о свою косу, сказала я.– Вы только что сказали мне, что любите меня. То есть не только что, но нынче, полчаса назад.

– Час.

– Час.

Я встала напротив него и откинула косу обратно на плечо:

– Так и сказали – «Я вас люблю».

– «Я вас люблю»?

– Я вас люблю. Да.

– Ну так вот, милая Августа. Я сказал вам об этом еще вчера. Вчера, а не сегодня. Но вы уже два дня ходите по дому настолько погруженная в свои мысли, что совершенно не обращаете на меня внимания. И сегодня мне пришлось начинать этот мой разговор заново, а такой разговор – далеко не самая легкая из всех любовных работ, уж поверьте мне.

– То есть как это вчера?– покосилась я на него.– Вы же сказали, что прибыли сегодня утром.

– Да, я так сказал. Скажи я, что гощу здесь уже месяц – вы согласились бы с этим. И даже с тем согласились бы, что я и вовсе не приезжал к вам.

– Значит вот как?– медленно подняла я голову, чтобы заглянуть ему в лицо.– Какая получается всё-таки интересная история с этим вашим приездом... Вы уже час морочите мне голову своим приездом и своей любовью.

– Полчаса.

– Полчаса?

– Полчаса.

– А вообще, дорогой мой господин Легниц, я давно заметила, что вы всё время стремитесь говорить наперекор мне,– и я решительно отбросила за спину свою косу, тяжело упавшую между лопатками и примявшую мне платье.

– Наперекор?

– Наперекор! Если я говорю «пять дней» – вы говорите «сегодня». Если я говорю «сегодня» – вы говорите «три дня назад». Да и сейчас у вас такое лицо, что похоже, будто вы просто насмешничаете надо мной, и я снова начинаю сомневаться в том, что было и в том, чего, может быть, не было... И вообще, какого цвета, в конце концов, ваши волосы?

– Я брюнет, если уж на то пошло.

– Что значит «если уж на то пошло»? Похоже, будто своим ответом вы делаете мне какое-то одолжение.

– Я брюнет. Просто брюнет, и в этом нет никакого моего одолжения.

Я нахмурилась и снова взяла косу со спины, чтобы незаметно вытереть об неё свои вспотевшие ладони...

– Вы хотите сказать, что я схожу с ума, раз могу забыть события вчерашнего дня?

– С ума вы не сходите, конечно. Моя тетушка, например, тоже была совершенно нормальной, здоровой и при всех своих прочих достоинствах очень деловитой женщиной. Хотя её здоровье, пожалуй, мог усомниться всякий, кто прочел бы её странные записи на кухонной стене, не зная всей истории. Ваш рассудок, милая Августа, тоже служит вам исправно. Вся беда в том, что с вами говорит и вас целует человек, которого вы не замечаете, – развёл руками Оскар Легниц. – И мне на память как раз подоспело еще одно забавное семейное предание... Вот послушайте-ка. Именно теперь, я думаю, вы оцените эту историю по достоинству...

Я протестующе покачала головой, но Легниц, несколько не обращая на это внимания, продолжил, располагаясь в кресле у огня: становилось темно, и было ясно, что теперь, на ночь глядя, пускаться в дорогу через Лепековские леса уже невозможно. И Оскар Легниц, как по всему было видно, намеревался ещё раз отложить свой отъезд.

Я решила, что пусть лучше ближайшие полчаса будут заняты его разглагольствованиями и моим молчанием, чем наоборот.

– Мой давний предок по отцовской линии лет триста назад поймал на базаре вора, который чуть было не срезал с его пояса кошелек...

Я присела в кресло, стоявшее возле, и тихонько сдвинула пальцами виски: «Ничего не понимаю, – подумала я. – Всё, что сегодня происходит – это или совершеннейшая чепуха, или я вообще не знаю что... Если вспомнить всё, что тут говорилось и делалось – то это совсем уже ни на что не похоже... Допускаю, что, может быть, я сегодня за ужином выпила вина немного больше, чем обычно... Но даже это не может быть причиной, чтобы всё обернулось таким вот странным образом...» Я тихонько, краем глаза, глянула на Оскара Легница, который преспокойно сидел в своём кресле и продолжал разглагольствовать как ни в чём ни бывало:

– Воришка понимал, что судить его долго не будут, а просто повесят на столбе перед ярмарочной площадью, и он выкупил себе жизнь следующим образом: он выдал моему ловкому предку некое тайное слово. Если шепнуть это слово кому-нибудь в ухо, то человек лишится жизни – правда, на мгновение, а потом всё обратно возвращается на свои места. Сделка была заключена, а отпущенный восвояси вор предупредил, что слово действует только на женщин, потому что из него лет двадцать назад была упущена одна буква, и из-за этой потери слово стало слабее, чем было вначале. Букву, вор сознался, ему отказалась продать одна цыганка, у которой он за очень большие деньги купил всё слово, и только на самую последнюю букву денег ему не хватило – и старая ведьма сказала ему ровно столько букв, за сколько он расплатился... Слово было тут же опробовано моим славным предком и оказалось настоящим: стоило его шепнуть женщине в ухо, как она мгновенно теряла дар речи, лишалась и слуха, и зрения и превращалась в что-то вроде деревянной колотушки с растопыренными пальцами. Всё это прекращалось почти сразу же, но можно было успеть, если набраться ловкости, снять с этой застывшей колотушки серьги и кольца или – если на то будет больше охоты – от души поцеловать её разок-другой и заглянуть, что делается в вырезе её платья... Я, конечно, прошу прощения за такие подробности, но времена тогда, как вы сами понимаете, были довольно дремучие – совсем не то, что теперь, – и люди жили проще, находя себе радости самые незамысловатые. От свалившейся на него удачи мой brave предок учинил в придорожном трактире пир, где и напился от души, радуясь своему везению. Когда же он проснулся на следующее утро, то, вставая, ударился макушкой о балку, и одна из букв заветного слова начисто вылетела у него из головы. Но само слово было таким длинным, что и без двух букв продолжало действовать: правда, времени снять с женщины кольца уже не оставалось – только серьги, да и с поцелуями теперь надо было торопиться...

Я еще раз исподтишка глянула на Оскара Легница и увидела, что он уже давным-давно снял свой злополучный шлем, и теперь его тёмная макушка безмятежно покоилась на короткой и не очень подходящей для его высокой головы кресельной спинке. «Ничего не понимаю, – еще раз подумала я. – И что это за наваждение произошло со мной сегодня? И что вообще скажу я обо всём этом Робину?»

– ...Его сын, – донёсся до меня прежний и невозмутимый голос Оскара Легница, – которому он передал в наследство это слово, отлично всё запомнил и пользовался словом от случая к случаю всю свою жизнь, пока однажды его не убили в лесу грабители. Своему сыну, не вовремя подоспевшему на выручку, он напоследок успел-таки передать заветное слово, но тоже без последней буквы – говорить раненый уже не мог и начал выцарапывать слово прутиком на песке, но на предпоследней букве умер. Слово снова укоротилось, но действовать продолжало – правда, еще на более короткий срок: успеешь или снять с женщины одну серьгу, или один разок поцеловать её. Потом дело обстояло так: каждый из следующих владельцев слова терял по одной его букве, как бы ни был предусмотрителен и осторожен: один был заикой, и в решающий момент не смог выговорить слово до конца перед своим преемником. Другой сам из вредности скрыл одну из оставшихся букв, сказав, что вычел её из наследства сына-шалопа, который своим беспутством чуть не пустил отца по миру. Следующий умник потерял букву, когда пытался перевести слово на арабский язык: он отправился в путешествие по востоку и хотел, чтобы и на тамошних женщин слово оказывало бы своё магическое действие. Буква затерялась где-то среди вариантов перевода, и он уже не смог вспомнить, когда видел её в последний раз. Так или иначе, чудесное слово добралось лет через триста и до меня. Я тоже его знаю, но уже успел потерять из него целых три буквы. Вы спросите – как?

Я ничего не собиралась спрашивать и только пожала плечами, давая понять, что знаю истинную цену этому анекдоту.

– Одну букву – на охоте, – неспеша продолжал Оскар Легниц, – когда на меня прямо из-за кустов выскочил дикий вепрь с оскаленными клыками – они были черного от ярости цвета... Я не успел даже выхватить нож, а он уже свалился на меня откуда-то сверху. Шерсть его на загривке стояла дыбом – ошетилившимся горбом он закрыл от меня солнце... И глядя замершими глазами на этот загривок величиной с гору, я стал отчаянно торговаться с богом за мою подешевевшую до ничтожности жизнь. Я мгновенно придумал, чем бы мог заплатить богу выкуп за своё спасение: я быстро решил забыть одну из очень немногих букв заветного слова, которое мне досталось. Эта мысль пришла мне в голову потому, наверное, что тогда – а я в то время был очень молод – слово это казалось мне весьма ценным имуществом, и я очень дорожил им... Жертва, как ни странно, была принята, и в тот раз мне действительно каким-то чудом удалось счастливо избежать ужасной смерти. Позже, вернувшись домой, я выполнил своё обещание и честно забыл одну из букв. Хотя мне было это очень жаль – слово через три раза на четвёртый еще исправно служило мне.

– Одна серёжка или один поцелуй, да?

– На серёжку не осталось времени еще у моего деда, которому слово служило через раз.

– Никак не могу понять, зачем же вы так цеплялись за это своё слово. И вы, и все ваши пращуры, по-видимому, очень дорожили им...

– Дорожили – и еще как! – кивнул Оскар Легниц. – Ведь каждый из нас мог находить этому слову применение сообразно вкусу, привычкам и обстоятельствам. Один мой предок, например, вошёл в историю нашего рода тем, что исхитрился поцеловать испанскую королеву. Он похвалялся этим направо и налево при каждом удобном случае перед всеми, кто встречался у него на пути, да ещё приукрашивал свой рассказ совсем уж нестерпимыми подробностями – пока однажды его из-за угла не зарезал убийца, нанятый испанским послом. Про другого ходили слухи, что он как-то раз шепнул это слово на ухо своей нелюбимой невесте, с которой его принуждал обвенчаться отец, и когда невеста остоленела, он спицей проткнул

ей сначала одно ухо, а потом другое. Когда бедняжка очнулась, она начисто лишилась слуха, и пройдоха-жених отказался на ней жениться под тем предлогом, что, мол, вот она глуха, как куропатка, и в таком виде для него совершенно не годится. Правда, трюк не подействовал – отец не отменил бракосочетания, и мой недалёковидный предок прожил с женой, нелюбимой да ещё вдобавок и глухой, без малого семьдесят лет. За всю их долгую совместную жизнь она не слышала от него ни одного упрёка, ни одного ругательства или проклятия, которых, надо полагать, изливалось на её голову немало, а поэтому была вполне счастлива в браке, чего нельзя сказать о её муже... Еще один мой прадед этим словом спас себя от темницы – из-за какой-то серьёзной провинности его заточили в одну отдалённую крепость и, надо полагать, забыли про него. Он понял, что ждать избавления неоткуда и, зная о давней истории этого слова, стал от нечего делать подбирать к слову не проданную старухой цыганкой букву, чтобы слово подействовало бы на охранника, сторожившего его. А так как букв в нашем алфавите не так уж и много, то он подставлял в слово то одну, то другую букву, выкрикивая всё это в уши своему стражнику – и тот очень быстро решил, что бедолага сошёл с ума. Чтобы попробовать подставить все буквы во всех возможных сочетаниях в начало, в середину и в конец слова, у пленника ушло двадцать пять лет – ведь иногда он сбивался, и приходилось всё начинать сначала. Но через двадцать пять лет тот, кто заточил его в крепость, умер – и безумца выпустили на свободу. После он уверял, что его мучитель умер не случайно и так же не случайно прошло двадцать пять лет – всё это сотворилось именно тогда, когда он отгадал скрытую букву. Бедный безумец говорил, что раз одна буква смогла изменить время, то само время есть не что иное, как слово, которое бог шепчет при рождении на ухо каждому на своём божьем языке. И он, томясь в темнице, случайно отгадал одну из букв этого божьего языка – букву «свобода»; и, видимо, сумел удачно расположить её – наверное, где-то между буквами «справедливость» и «повезло»... Но, если ему верить, буква «беспечность» в нашем наследственном слове еще оставалась – и из-за этого слово еще более укоротилось.

– Как я погляжу, не очень-то много счастья прибавилось вашим славным предкам через это заветное слово.

– Всё как у всех: господь наказывает нас тем же самым, чем награждает. И надо держать ухо востро со всеми его дарами – точно так же, как с известной долей дальновидности не верить в посылаемые нам страдания...

– И когда вы потеряли свою вторую букву? – я всё-таки втянулась в эту нелепую историю.

– За игрой в кости. В тот очень несчастливый день я проигрывал, и проиграл уже очень много, но всё никак не мог остановиться – словно какой-то бес толкал меня в спину... И вот я понимаю, что денег у меня больше не осталось. Я стал играть в долг, и долг мой всё рос и рос, словно деньги проваливались в какую-то дыру у меня под руками. Так я проиграл всё приданое моей сестры, затем проиграл и саму сестру, дав слово выдать её замуж за того, кто нынче так ловко обыгрывал меня. Но потом удача вдруг ненадолго улыбнулась мне – или бес, который толкал меня в спину, зевнул и отпустил меня – и я неожиданно выиграл: так я вернул себе сестру, потом сестре – её приданое и собирался было и вовсе встать из-за стола, но тут бес перестал зевать и снова взялся за меня. Я снова оставил сестру без гроша, сумев, однако, каким-то чудом сохранить ей свободу. Но мне стало жаль её, совершенно безденежную, и я исхитрился отыграть шестнадцатую часть её приданого, поставив на кон моё заветное слово. Мы играли, не отходя от стола, еще два дня, и слово переходило из рук в руки раз сто – никто из нас не хотел остановиться и согласиться с окончательной потерей слова или с тем, что словом будет владеть соперник. Мы разделили слово на буквы, то есть на ставки, и вразнобой проигрывали их друг другу. И когда внезапно пришёл игре конец – а пришёл он тогда, когда к нам явился маршальский гонец, – то дело обстояло так: бес, который разорял меня, толкая в спину кривым огненным пальцем, утомился и отстал от меня, и в моём распоряжении оказались все буквы моего слова, кроме, разве что, одной, последней. Я бы и её отыграл обратно – не хватило

для этого пары минут... Эту последнюю букву оставил при себе на память мой соперник – и слово стало еще короче. Ну а третью из растраченных мной букв я просто подарил...

– Кому же, интересно, понадобилась буква без слова?

– Я подарил её просто так одной даме, и, конечно, не на какое-либо пользование, а для того, чтобы выразить ей свою любовь.

– Вот как?

– Да. Я рассказал ей о своём слове, а она обиделась на меня, что через сорок раз на сорок первый мне удаётся тайком урвать чей-нибудь незаконный поцелуй – ведь раз уж слово есть, то им – хочешь-не хочешь – а пользуешься где-нибудь время от времени, как бы ты ни был в этот момент влюблён и счастлив. И вот она, та моя возлюбленная, потребовала, чтобы в знак моей к ней любви и верности я раз и навсегда забыл это своё слово. Но я возразил ей, что слово это стало за три с половиной века семейной реликвией и достоянием моего рода, и оно принадлежит уже даже и не мне, а моим потомкам, сколько бы букв от него ни осталось. Тогда моя возлюбленная долго думала, что же ей делать со всей этой историей и, наконец, придумала: она попросила меня подарить ей одну из его букв – любую, на мой выбор. Эта малость, как она выразилась, была бы ей очень приятна. И мне не оставалось ничего иного, как взять и подарить ей букву, о которой она просила. Получив свою букву, она успокоилась: ведь теперь, после моего дара, в слове осталась всего лишь одна буква, то есть, строго-то говоря, слово перестало быть словом, превратившись в букву, и, конечно, лишилось жалких остатков своих былых чар – и я, как думала моя возлюбленная, остался без этого так удручавшего её наследства. Следует добавить, правда, что наше с ней счастье было весьма недолгим: очень скоро её страсть ко мне остыла, и она упорхнула от меня прочь. Признаться, я не очень-то грустил по этому поводу: мои чувства к ней как-то незаметно и непоправимо пошатнулись, как только я отдал ей букву. Пошатнулись в сторону разочарования, а потом и вовсе скосились в безразличие... Вот, например, вы, Августа, стали бы требовать от меня в подарок букву, зная, что их у меня осталось только две?

– Я? Я – нет, не стала бы.

– Ну вот видите.

– Зачем же лишать человека законно причитающихся ему радостей! – скривила я губы.

Оскар Легниц улыбнулся непонятно чему:

– Я всегда говорил, что настоящая ревность сродни настоящей гордости – она выдаёт себя только в самых крайних случаях, когда сердцу грозит смерть от грусти... А у настоящей любви всё настоящее – и ревность, и грусть. Подделки сразу же выдают себя.

– Ну, а вы тоже хороши, господин Легниц! – отшвырнула я назад косу, отяжелевшую от пота с ладоней и невыпитого вина, которое я по своей неистребимой привычке незаметно вытирала со стола и с пальцев. Привычка эта осталась еще с детства: отец ругал меня за неряшество, если я вдруг нечаянно проливала что-нибудь на стол... И на этот раз коса, свившаяся в винный жгут, так хлестнула меня по спине, что я чуть не поперхнулась... – Конечно, ясно как божий день, что всю историю про тайное слово вы придумали от начала и до конца, но, тем не менее, нечего и удивляться, что ваша возлюбленная оставила вас так скоро! Вы с ней были та ещё парочка!

– Почему же «нечего удивляться»? – удивился Оскар Легниц.

– Да потому что, любя вы её по-настоящему, то дурацкое ваше слово само вылетело бы у вас из головы! А вы всё продолжали его помнить, «ведь раз уж слово есть, то им – хочешь-не хочешь – а пользуешься где-нибудь время от времени». Что же это за любовь такая получается, если «время от времени» вы испытываете потребность поискать где-нибудь маленькую передышку от всего этого и, надо думать, никогда не упустите случая, если уж он подвернётся...

– Ну а вы как думали, милая моя Августа! – широко развёл руками Оскар Легниц. – Любовь – очень и очень нелегкое дело, и странно, на вас глядя, видеть, что вы до сих пор не

поняли этого! Любовь – тяжёлая, трудная и, бывает, очень убыточная работа, за которую никто – ни, я повторяю, кто – и никогда не берётся добровольно. А берётся только тогда, когда сама собой, внезапно и ни с того ни с сего в боговом слове, завязшем в ухе, дойдёт очередь до буквы «любовь». Конечно же, здесь не обойтись без передышки... А знаете, – вдруг улыбнулся Оскар Легниц, и в его глазах заплясали крошечные искры, – а ведь слово-то цело до сих пор. Ну, то самое моё слово, от которого осталась одна буква. Когда мне станет это очень нужно, буква сработает – по привычке, разумеется: ведь ей ещё невдомёк, что она осталась одна из всего слова. Она до сих пор думает, что слово живо, что вслед за ней я назову и остальные буквы, которые мне известны. И она, будучи первой, начнёт спокойно и твёрдо выполнять привычную свою работу, да вот только других так и не дожждётся... А когда она поймёт, что осталась одна из слова больше нет, то всё прекратится раз и навсегда. Но один раз обман еще может проскочить. Так я и подумал, когда отдал своей легкомысленной возлюбленной вторую из двух оставшихся букв – именно вторую, а первую приберёг для себя.

– Вот я же и говорю, что вы никогда не любили по-настоящему ту женщину! Вы обращались с ней довольно расчетливо – а настоящая любовь уж конечно не знает никакого расчета... – я и не заметила, как моя коса снова оказалась у меня в руках; я мяла и теребила её, то вплетая в волосы свои пальцы, то вынимая их оттуда, и глядела, как коса всё больше разрушается от этого... Я скривила губы, почувствовав, что никак не могу прекратить этот странный разговор и что опять не в силах удержать себя от того, чтобы не ответить ему – сорная болезнь спора уже так крепко проросла во мне, что я начала отвечать ему прежде, чем поняла, что именно я говорю. Ну а когда я поняла это, то было уже поздно что-либо исправить... Кажется, тогда-то я и сказала ему, что, похоже, он не имеет никакого понятия и представления, что это значит на самом деле – любить... Почему я обвинила Оскара Легница в этом, как я полагала, самом страшном грехе – я не знаю и до сих пор...

Помню только, что говорила я быстро и без остановки, и губы от этих моих быстрых и внезапных слов сохли и трескались – я облизывала их шершавым, как у ящерицы, языком... И чем больше я облизывала их, чтобы мне было не больно и не трудно говорить, тем больше они бледнели – как будто я съедала их цвет, розовый цвет спокойствия и безмятежности. И поэтому когда я, подавившись последними словами своей внезапной речи, остановилась, то мои губы, не поспевающие за мной не более чем на полдыхания, еще говорили: «...что это значит на самом деле!»

И он совсем не обиделся на меня за эти слова, обиднее которых, по моему тогдашнему мнению, ничего на свете не могло быть. Он только глянул на меня пытливо и даже кивнул мне в ответ – так, будто вполне принимает мой страшный упрёк. А вслед за этим сказал:

– Может, вы и правы, милая Августа, ведь всё это произошло очень давно, когда мне было лет семнадцать – не больше. Я в те времена действительно натворил много разных глупостей. Кроме всех вышеперечисленных безумств, о которых я нынче поведал вам, были проделки и ещё похлеще: так, например, я пошатнул наш дом...

Я подняла на него глаза.

– Да, я думал, что смертельно влюблен в неё... ну, в ту прелестную особу, о которой я вам уже рассказывал, и имя которой для этой истории не столь и важно. И вот как-то раз я бродил по саду, думая о ней и о своей любви, и не мог найти себе ни занятия, ни места – сердце во мне колотилось и рвалось, и я от этого клокотания в груди был счастлив, беспомощен и, как тогда мне казалось, безмерно всемогущ. Да, я чувствовал в себе необъяснимые силы – я был так всемогущ, милая Августа, что это сделалось совершенно невыносимым в конце концов. Ведь человек не может быть слишком долго всемогущим. И я, чтобы избавиться от этой радостной, но опасной силы, приложил ладони к стене замка и чуть-чуть – клянусь, только слегка! – толкнул его. А он закачался, как будто был сделан из желе. Особенно долго тряслась крыша, с таким, знаете, особенным железным лязганьем, а потом оттуда посыпались старые грациные

гнезда – труха да пыль... Я испугался, что моя матушка станет меня ругать за то, что я раскачал замок – и убежал подальше от места преступления. Я стоял и всё никак не мог отдышаться – шутка ли: раскачать целый дом со всеми слугами, столами, креслами, кроватями и ночными горшками! Но облегчения от этой внезапной выходки не наступило, и ненужная сила меня не покинула. Она продолжала жить во мне, свернувшись острым и тугим жгутом прямо в моей груди. Надо было куда-то деть её. И мне пришла в голову совсем уж бесшабашная мысль: на этот раз немножко раскачать землю. Немножко. Ведь говорят, она движется всё время куда-то. И я подумал, что раз она движется, то ведь может и перестать двигаться. Если существуют силы, которые крутят и погоняют ее, то найдутся силы, которые ее остановят. Я пришёл в восторг от этой мысли: она казалась мне тогда не столько сумасшедшей, сколько озорной – схватить уезжающую из-под ног землю за холку да и поддержать ее немного на весу просто так, чтобы земля упиралась когтями, скребла и щелкала хвостом, рвалась из ошейника прочь... И я вцепился в жирный и прохладный землин загривок, почти по самые запястья погрузил руки в зеленую траву, как в зеленую шерсть. Я зажмурился от натуги и потянул землю на себя, стараясь тянуть ее плавно, бережно, чтобы от случайного резкого толчка не рухнула бы вдруг старая колокольня... Что-то внутри земли, на которой я стоял на четвереньках, хрустнуло, лязгнуло, и земля тихо остановилась. Она замерла, дыша изнутри вспотевшими глубинными жабрами. Я видел, как несутся над уставшей за миллионы лет землей облака, как ветер удивленно облетает неподвижную землю, как тень на солнечных часах замерла на одном месте и больше не тронулась ни вперед, ни назад. Я держал землю, чтобы она немного отдохнула. Как тяжело работать земле! Сколько всего она несет и тащит на себе – и корабли, и луга, и шагающие полки солдат, и бальные вихри, и дрожащие кровати любовников... Несколько минут я всё это держал на себе – плечи земли обмякли, она порывисто и свободно вздохнула, слизнув зеленым языком столетний пот с вон тех дальних холмов... А по мне тем временем плыли корабли, качались луга, шагали полки солдат, гремели в уши бальные вихри, дрожали кровати любовников... Земное всеведение открылось мне – я знал, что где-то на левом конце земли зеленый кузнечик бесцветным своим брюхом припал к качающемуся листу, и так же ясно я знал, как на правом конце земли море рушит бурей прибрежный город. Одно мое плечо щекотали усы кузнечика, а другое обдавали брызги кровавой пены. И я понял, что тяжело быть землей не от того, что всего много на ней, а от того, что всё на ней печально... И когда в сердце прокралась эта печаль, которая и держит мир, сила моя иссякла. Я отпустил землю, и она одним скачком догнала саму себя, неукротимо и молодо качнув тополями – землиной челкой – и бросилась туда, в будущее, сгребя в пригоршню всех нас. Стрелка солнечных часов тоже метнулась вперед и ожила. Я, уставший до изнеможения, пошёл домой. И только придя в свою комнату, я заметил, что держу в кулаке полумертвого кузнечика – я тут же выкинул его в окно... Правый мой рукав был весь мокрый – кружева набухли и огрубели от тяжелой морской соли... Теперь я думаю, что, наверное, я перестарался тогда: всё затеянное мной слишком подточило силы ещё не окрепшей любви, и очень скоро моя влюблённость прошла и окончилась сама собой...

– Ты мне Расскажи лучше вот о чём: что ты в конце концов ответила ему на все его откровения?– спросил Робин, видимо, уставший ждать конца этой истории.

– Ну, мы потом еще долго и о многом говорили,– уклончиво сказала я.– Мы говорили о том, что такое счастье и есть ли оно; о том, как и почему бог сотворил землю и какова мера грусти в любви и в просто жизни...

– И ты, конечно, во всём не соглашалась с ним, как обычно?

– Нет, не во всём, – покачала я головой.– Скорее, наоборот. Я почти во всём с ним соглашалась против своего обыкновения.

– Соглашаться с сумасшедшим – большой риск, – вздохнул Робин.– Пожалуй, зря я оставил тебя наедине с ним. Но он – совершенно не знаю как – что-то такое наговорил мне про тебя... Уж сколько раз я зарекался связываться с ним – и вот пожалуйста!

– А утром мы попрощались, и он уехал.

Я выходила его провожать. У ворот мы с Легницем в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Верхний его глаз был менее грустен – наверное, потому, что глядел вдаль и видел то, что ждало нас впереди...

– Ну а что же всё-таки ты ответила ему, Августа?– ещё раз спросил меня Робин.– О чём вы с ним договорились? Согласись, я должен это знать, ведь так?

– И зачем вы всё время называете его сумасшедшим?– перебила я Робина.– Ведь на самом же деле вы про него так не считаете, да?

– Конечно, он не совсем обычный сумасшедший, не из тех, кого сажают под замок... Но, согласишься, во всех этих его рассказах есть что-то по меньшей мере странное. Вот то, например, как умер бессмертным и любимым его дядюшка... Или – ещё больше – как сам он ворочал землю...

– Ну и что? Я не нахожу в этом ничего странного или заслуживающего насмешки,– нахмурилась я.

– Насмешки? Да упаси меня бог! Хотя теперь мне кажется – вы с ним действительно два сапога пара, как он и уверял меня!

– А я очень его понимаю,– упрямо вскинула я голову.– Однажды, тоже очень давно, когда я полюбила одного человека – не Оскара Легница, а другого...

– Следует ли из этих твоих слов, что Оскара Легница ты всё-таки уже успела полюбить?

Я медленно опустила голову.

– Ну что же, вот мы и добились некоторой ясности. Продолжай дальше, раз уж начала, а там, глядишь, выплывет еще что-нибудь интересное...– вздохнул Робин.

– Однажды...– почему я вдруг стала рассказывать это Робину, я не знаю, но из души у меня словно выскочила какая-то пробка, и слова сами собой стали выпрыгивать на язык, а уж удержать их там не было никакой возможности...– Однажды я собрала из всех шкапулок со всего дома все перстни и кольца, какие только были у моей матери, и надела их все сразу... А колец этих было так много, что пальцы мои перестали гнуться. Отец увидел меня в саду и, конечно, очень удивился моему виду. Я всё ему объяснила: «Это для того, чтобы золото держало мои руки. Если всё снять, то руки потянутся вверх, и я сама, в конце концов, улечу туда... Ничего не могу с этим поделать, но я так чувствую... А в туфлях у меня лежит по три монеты – по три очень тяжелых, очень тяжелых, папа, монеты. Хотя скоро, наверное, и это перестанет меня спасать. Дойди до дела, и меня вытянет ветром прямо из туфель, босую, в небо...» Да, меня тянуло туда, вверх. Я до сих пор помню и никогда не забуду этого чувства... Блаженный ужас охватывал меня при мысли о том, что я вполне могу взлететь, подхваченная, например, ветром, которому, как известно, всё всё равно. Я стала тонка и несуществующа для самой себя – и да, от ветра мне была большая опасность – мне, ставшей легкой, как чертополоховый пух, с тех самых пор, как сладкое любовное блаженство кольнуло меня в грудь тонкой серебряной иглой счастья... Подул ветер, и я схватилась рукой за ветку сирени, чтобы меня не унесло с земли. Отец и удивился моим речам, и испугался. «Тебе плохо, Августа?»– спросил он. «Нет... Нет, конечно,– ответила я и, не удержавшись, снова покачнулась – так, что тонкая сиреневая ветка хрустнула у меня под пальцами.

– Да что же это такое!– воскликнул отец, взяв меня за руки.– Иди приляг, я привезу к тебе лекаря.

– Не надо лекаря, папа. Уже всё прошло,– поспешно сказала я и нашла необходимым солгать:– Я забыла с утра позавтракать, и теперь у меня немного закружилась голова.

Я ему солгала. Голова у меня совсем не кружилась, только немножко поднималась вверх... Всё началось с подбородка – мне хотелось смотреть всё время в небо... вернее, в то, что от него осталось. Ведь небо недавно исчезло – примерно тогда, когда к нам приехал милый Освальд...

Отец всё-таки заставил меня лечь в постель и вызвал ко мне лекаря – Мариуса, который тогда еще только начал заниматься лекарским делом и был не очень опытен в лекарственных уловках, но зато жил неподалеку – в Мюрццушлагге – и мог приехать к нам скорее любого другого врача.

Когда приехал Мариус, я услышала его голос и немедленно притворилась спящей, чтобы бесполезный лекарь как-нибудь поскорее убрался бы восвояси. Моя хитрость сработала, и отец не повёл его ко мне. Они довольно долго стояли на лестнице перед моей комнатой, и я слышала, как отец, хорошенько прикрыв дверь, спрашивал у него надтреснутым от волнения голосом:

– И что теперь мне с этим делать?

На что Мариус, понизив голос до свистящего шёпота, ответил, разведя руки в стороны (я слышала, как он развёл руки, и слышала, как он покачал головой):

– Лекаря не лечат от любви. И слава богу, что не лечат. Не думайте, пожалуйста, что она сошла с ума, хотя именно так вам, наверное, и думается теперь. Будьте спокойны: Августа знает, что небо, скорей всего, на месте – для вас, для меня и для всех остальных. Ведь было же оно на месте всё время до того, как она полюбила этого злополучного Освальда! Но всегда кто-то где-то кого-то любит, и кто-то теряет свои следы, а небо – этот спокойный потолок – всё-таки как-то держится, цепляется там за что-то своё и не сваливается никому на голову. И она, понимая это, спокойна за мир, за то, что всё будет как надо и как всегда – а это значит, что она не сошла с ума. Ведь сумасшедшие, как правило, очень переживают за мир, как там и что с ним происходит, хотят как-нибудь покрепче приколотить небо к небу, чтобы оно не дай бог навсегда не исчезло бы куда-нибудь, и от этого беспокойства сходят с ума еще больше... Ну а у Августы детское сердце меняется на взрослое – только и всего. Вместе с сердцем меняются мысли и глаза. Это у всех бывает как-нибудь по-непонятному. У неё, по-видимому, глаза поменялись на немножко быстрее, чем мысли: она смотрит на мир уже взрослыми глазами, но еще не понимает, что там видит – а детские мысли подсказывают ей всякую чепуху, которой она пока ещё верит, но верит не совсем по-настоящему, понимая, что что-то здесь всё-таки не так и что скоро всё должно стать на свои места – старые или новые.

– И как долго ждать, пока всё образуется? – снова спросил отец, видимо, не очень охотно принимая мнение такого молодого и пока слишком уж недолго занимающегося своим делом лекаря. – Как долго ждать, пока они догонят друг друга – её глаза, мысли и сердце?

– На это трудно ответить что-либо определённое, – развёл руками Мариус. – Но утешайтесь тем, что рано или поздно всё это пройдет...»

– Так что любовь – болезнь довольно распространённая, – закончила я свой рассказ. – И даже с вами, Робин, такое было, ведь так?

Робин медленно покачал головой.

– Я никогда не двигал землю, – уточнил он.

– И вас не сметал в небо ветер? – осторожно спросила я, глядя в его кажущиеся такими спокойными глаза.

– Меня не сметал в небо ветер, – подтвердил Робин.

– И небо над вами...

– Нет, не исчезало. Оно всегда было на месте.

– Ну тогда я не знаю, как вам всё это удалось. Или ваше сердце поменялось одновременно с вашими мыслями и глазами, и именно поэтому вы, Робин, действительно существо совершенно другое, чем, например, мы с Оскаром Легницем?

– Просто дело в том, Августа, что у всего этого есть и иная сторона, – ответил Робин, и глаза его потемнели, сделавшись чернее и глубже, – противоположная, понимаешь? То есть совсем другая. И эта другая сторона обратна тому любовному всемогуществу, которым красноречиво похвалялся перед тобой Оскар Легниц. Это то, что делает из человека никому-никто... И однажды, – продолжал Робин, – уж если ты спросила меня... (я ни о чём его не спрашивала,

но перебивать не решилась) ...однажды дело обернулось так, что на одном давнем турнире твой Оскар Легниц вышиб меня из седла... Правда, тогда он еще не был твоим – это было лет двенадцать назад, и он был и оставался ничейным: ты еще играла в куклы, а не в любовь... И вот, Оскар Легниц вышиб меня из седла. И если расспросить его хорошенько, то он, наверное, до сих пор гордится этим вот шрамом на моем запястье...

Я слегка дотронулась кончиками пальцев до глубокого коричневого шрама на левой Робиновой руке. От времени он почти ушел под кожу, но всё еще был виден.

– От того удара, – продолжал Робин, темнея глазами, – мой щит затрещал, как тростниковая свирель. Наверное, ни одна вмятина на каленом железе не вызывала такого дикого рева на трибунах! Железо щита стонало у меня в руках и исходило каплями искр. Раны железу – настоящие, смертельные раны – нанести труднее, конечно, чем слабому человеческому телу... Вдоль щита от Легницева меча пролегла глубокая борозда. Я видел сто раз, как выбивают щиты из рук или как их раскалывают пополам, точно гнилой орех. Но мой щит – это же был мой щит! – невозможно было расколоть, он был крепче мироздания... И вот Легниц совершил невероятное. Одним взмахом своего меча он согнул мой щит надвое, выбив на его сверкающем лбу глубокую, как старость, морщину. И щит, не вынеся напряжения смерти и позора, стал сворачиваться толстыми железными краями к продавленной середине, как сворачивается сухой кленовый лист на осеннем солнцепеке... Щит хрустел у меня в руках и морщился, он шевелился с тихим, мертвым скрежетом... Смерть щита – это почти смерть мира. Потом, позже, мир умирал для меня много раз, но тогда это было в первый раз. Сейчас-то я понимаю, что заслужить хорошее поражение так же трудно, как хорошую победу. И то поражение было как раз таким, от которого получаешь больше, чем от иной победы: силу держать удар под гнущимся над головой извечно-прочным, как пустота, щитом неба... Всё так случилось, потому что не приехала она – не приехала впервые. Место в нашей ложе было пусто. Я ждал до последнего, но ее не было. Она так и не появилась. Сам король, изогнув бровь, косился на ее пустое кресло. Шепот, пущенный старыми сплетницами, пробежал по пестрым трибунам, как озноб. Я даже на мгновение прикрыл глаза рукой, чтобы не видеть пустоты нашей ложи, но тут же шепот взвился надо мной, как плетка, и я заставил себя взглянуть туда снова, в море пестро и ярко разодетых женщин на трибунах, женщин чужих и залитых солнцем до неузнаваемости... Её не было. Ее отсутствие было заметно, как отсутствие священника на отпевании... Когда меня привезли с турнира домой, ее тоже не было. И это уже было больше, чем оскорбление – это была печаль, столь же нестерпимая, сколь и заслуженная. После ставшего знаменитым удара Оскара Легница я очень долго не мог шевелить рукой – той самой, сжимавшей щит. Искореженное железо впилося, как вросло, в согнутые пальцы, сдавило и расплющило кисть до отчаянной и нестерпимой, как неудача, боли. Накаленным на огне ножом лекарь в нескольких местах надрезал мою кисть, чтобы вынуть руку из вбитых в нее железных обломков. Это был самый опытный костоправ – король среди костоправов. Он трудился над моей рукой почти сутки, не разгибая спины, трудился упорно, медленно, как кружевница над собственным приданным, и пот лился ему за уши. Он складывал раздробленные под кожей косточки моих пальцев, связывал их сухожилиями и перекладывал с одного места на другое, нужное, не обращая внимания на мои ругательства и затрещины. В конце концов он приказал меня связать, и я мог только, разве что, скрежетать зубами да исходить коричневым от боли потом... Но надо отдать ему должное: он вылепил мою руку заново, вернув каждой косточке изначально полагавшееся ей место. Остался, правда, шрам – рана, нанесенная мне собственным щитом... С тех пор мои пальцы потеряли гибкость и почти лишились чувствительности. Для боя это было всё равно, если даже не к лучшему... Но я провел пальцами по ее волосам – и не ощутил ничего, будто прикоснулся к воздуху. Дрожь пока неведомого мне ужаса всколыхнула мне душу. Я прикасался к женщине, которую не чувствовал, которая становилась пустотой, призраком, криком. Я стал постепенно терять тепло ее кожи, мягкость ее шеи... Даже ее губы казались мне без-

вкусными, как постоявшая вода. Я терял ее. Она растворялась в воздухе всё вернее с каждым днем... Я заметил, как она поморщилась, когда я однажды дотронулся до ее обнаженной груди своими немymi пальцами. Она натянула одеяло на плечи и отвернулась. Наутро я уехал из дома. Меня очень долго не было тогда. Может быть, почти полгода. Но когда я думал о доме, я видел перед глазами женщину, тянущую на плечи одеяло, чтобы одеяловый шелк смыл с нежной кожи неловкое и ненужное прикосновение деревянных пальцев. Моя душа глотала к ней. Терять добытую из жизни женщину – всё равно, что терять теплый дом, построенный под дождем...

– Это ваша жена, Робин? Да?– тихо спросила я, перебив его, не выдержав внезапной, странной муки сопричастности чужому горю, так неожиданно ворвавшегося в мою любовную безмятежность...

Я осеклась и виновато взглянула на Робина – он уже был в дверях.

– Да,– ответил он издали. – Если теперь про нее можно так сказать.

– Вы... вы зря уехали тогда,– крикнула я ему вслед. – Надо было остаться. Уходить всегда хуже, чем оставаться.

– Остаться?– Робин снова шагнул ко мне из разинутой дверной пасти. – И зачем остаться?

Два огонька от одной свечи, тихо горевшей у меня в руках, застыли в его почти невидных из-за темноты глазах.

– Зачем остаться?– повторил он, глядя поверх моей головы. – Чтобы терпеть ее упреки? Она одна умеет делать так – молчать, скосив глаза в сторону... Или еще запретит у себя и сидит там у окна, не гася свечку ночь напролет... А с утра выйдет с поджатыми губами и снова весь день молчит... А в глазах – темнота какая-то, и в этой темноте не видно ничего – только лес и ворота, ворота и дорога, дорога и лес...

Я отвернулась. Что-то непонятное большой и смутной тенью прошло мимо меня. Я поехала и покосилась на Робина:

– Ну пусть упреки,– сказала я в сторону,– пусть что угодно, лишь бы вместе. Это самое главное, что вместе, – ведь вы вправду любили ее...

– А если не вправду? – перевел на меня свой темный взгляд Робин. Из двух свечей там не осталось ни одной. – А если я изменил ей? Да так, чтобы она сама узнала об этом! Чтобы наверняка узнала, как я переспал с одной из ее служанок...

– Пере... пере-что?– я стукнулась головой о кроватную спинку.

– Ничего,– он вышел из комнаты, хлопнув дверью.

– Боже мой, боже мой!– я покачивалась, сидя на кровати и сжав ладонями виски. – Видимо, я что-то не то сказала, что-то не то! И пусть тогда Робин простит мне это, ведь влюбленные – такие, как я – ничего не понимают, ничего не знают и не помнят, кроме своей любви...

Я сидела и думала, как бы мне к этому привыкнуть – к тому, что я опять влюблена. И можно ли вообще к этому привыкнуть? Я надеялась, что можно, только вот пока еще непонятно, как.

Я вспомнила о Робине, который только что вышел... Или вышел три дня назад. Мне стало немного стыдно от того, что я могу быть так безмятежна и так... да, кажется, так счастлива, когда кругом столько печальной, нерадостной жизни, столько горя, может быть, столько войны... Но даже слово «война» перестало казаться мне страшным, оно лишилось того грозного смысла, каким наполнено было раньше, оно вообще перестало быть наполненным хоть каким-нибудь смыслом – как, впрочем, и все остальные слова, удаленные от моей любви... Война стала казаться мне маленькой, размером с носовой платок и даже еще меньше, мельче и ничтожнее. Она превратилась для меня в почти несуществующую малость. Точно такой же малостью стали люди – чтобы обратиться к ним, рассмотреть их, надо было приложить такое усилие, что у меня не всегда хватало на это воли. Например, бедный Робин был мал, как горошина – не знаю, заметил он это или нет по тому, как я щурюсь каждый раз, глядя на него, и

всё равно с трудом его различаю, оборачивая голову только на звук его голоса, тоже неясного. Я не видела его лица и почти не понимала его слов, обращенных ко мне, но трудилась его замечать ради него самого – ради своего бывшего к нему уважения. Я говорю «бывшего», потому что теперь я, признаться, довольно плохо представляла себе, что такое «уважение» – такой же бессмысленный набор звуков из прошлой жизни... Еще немножко, еще несколько дней – и я, чего доброго, действительно начну забывать и путать слова и мысли из-за незначительности и ненужности для моей Любви того, что стоит за ними:

– Госпожа Августа, – спросят меня. – Что прикажете сегодня на обед?

– На обед? – почешу я лоб. – Пожалуй, немножечко... хм... как это... уважения. Да, только смотрите, не пересолите всё это, как в прошлый раз.

– Слушаюсь. А чего изволите на ужин?

– Ничего. Вечером я уезжаю навестить Мариусову сестру Роззи в Мюрццушлаг. Скажите... этому... как его... кучеру, чтоб запряг мне... чтоб запряг... ну, вы знаете... чтоб запряг войну. И пусть покормит ее хорошенько – доехать быстрее в Мюрццушлаг до вечера...

На миг я вдруг ужаснулась самой себе, собственной бессердечности. Маленький Робин, маленький мир, маленькая война... И вернувшийся на короткое время рассудок сказал мне, что я безвозвратно и губительно впадаю в любовное оцепенение, в тяжелое и сладкое любовное небытие.

Еще неделю назад я, помнится, плакала... О, как я плакала! Я горевала о чем-то... Нет, о ком-то. О ком-то. Слезы из меня лились такие едкие от горя, что кожа на щеках сморщилась, как кожа финика... По ком же я тогда так плакала? Ах, да. Убили брата Мариуса, Филиппа... И я плакала. Помню еще, мне очень было жаль Карлу, Филиппову жену, которая не выдержала горя и сошла с ума – она билась об стену так, будто хотела размозжить себе голову... Старая Хелена была там же, она удерживала Карлу, и та покусала ей руки... Господи, как легко бросить всё это! А тем более ради любви. Как хороша любовь по сравнению со всем этим!

И забывая о Филиппе, о Карле, о Бернани и других, я, конечно, не предаю их. Конечно, нет... Конечно, да! Ну и что? Им и со мной, и без меня одинаково плохо. И будто мне легко было забыть их! Я, может, о них вовсе и не забывала – вот думаю же я о них теперь. Думаю о них, о безногом Бернани, которому ядром оторвало обе ноги, о пропавшем без вести Мариусе, о... обо всех! Я думаю о них, будто не о чем мне больше думать!.. А как трудно мне о них думать, кто бы знал!

И если меня спросят когда-нибудь, почему же я всё-таки забыла о них, я скажу... я скажу... Что же я скажу?.. А кто будет спрашивать? Кому есть до меня дело? Никто не будет спрашивать!.. Хотя, например, Бог. Да, он может... Как же я сразу о нём не вспомнила... Сначала он вынет у меня из сердца мое сладкое любовное блаженство, которым, как длинной серебряной иглой, недавно кольнул мне душу... И что я скажу ему? Ах, не всё ли теперь равно, что я скажу! А может, сказать всё как есть? Сказать, что... что женщина не предавшая – женщина не любившая. Сказать? Никто ему, наверное, так не говорил, он удивится или рассердится. Любовь – это особая, отравленная сладким ядом восторга, воли и всемогущества, разновидность смерти. Это потеря мира, его забот, его тяжести, его печалей – ведь наш мир именно таков. Потерян мир – потеряна неизбежная и неостановимая боль существования в этом мире... О, как я плакала тогда, и слезы были такие жуткие, как финики... Спасибо тебе, господи, за то, что ты придумал нам любить. Любовь – маленькая смерть, смерть ненавсегда – да и не моя смерть, а мира. Какого-то там мира! Ну и в чем же здесь грех? В чем, Боже, грех? Скажи мне, если сам знаешь!

– В чем грех? – переспросил Робин.

Я вздрогнула. Он стоял рядом. Я не видела, как и когда он вошел. Я уже третий день перебирала пух в старых перинах, притащенных Мартой с чердака. Я сидела прямо на полу, подогнув под себя ноги, и не торопясь, день за днём, шевелила пальцами слежавшиеся перья,

пересыпая их из одной пригоршни в другую и раскладывая возле себя маленькими неподвижными холмами. Я сидела здесь уже третий день, дышала пылью, чердаком и старыми перьями, и эта моя работа не двигалась ни туда, ни обратно – только пух стал поскрипывать у меня на языке. Я сидела, думала и не заметила, что, наверное, стала говорить вслух. В голове моей от долгих дум как-то, видимо, истерлась перегородка между словами и мыслями, и мысли стали сами собой стекать на язык...

– В чем грех?– повторил Робин, поскрипывая шагами по рассыпанным перьям, как по снегу. Он остановился у окна и, обернувшись, глянул на меня через плечо.– Уж конечно, не в том, что никто еще добровольно не вернулся из любви в мир, что всех пришлось вытаскивать. Каждого! Без исключения. Грех в том, что ради блаженного отдыха небытия все слишком легко убивают в себе мир. Женщине не надо мира, если у нее есть любовь. Но если такое случается с мужчиной – то жизнь его, конечно, делается невыносима: он знает, что мира не может не быть, но понимает, что мир ему не нужен...

Я даже не знаю, когда Робин ушел – я не заметила и этого. Я поняла, что он ушел, только когда увидела, что невысокая перьевая вьюга от его шагов стихла... Стук в дверь совершенно оглушил меня.

– Войдите!– крикнула я.

– Госпожа Августа, вас спрашивают.

– Кто спрашивает?– удивилась я.

– Я,– и, отодвинув от двери Марту, ко мне вошла, или даже почти ворвалась нежданная – негаданная...

– Госпожа Розамунда Мюрццушлаг,– пожав плечами, запоздало объявила Марта и ушла, прикрыв за собой дверь.

Вид Роззи так меня озадачил, что от удивления видеть ее перед собой сейчас и здесь я вдруг снова вернулась в прежний мир: комната, в которой я сидела среди куч старых желто-бурых перьев, сделалась неожиданно большой, как, наверное, и была когда-то; потолок перестал давить мне на глаза, и я вздохнула свободно – стены расступились, и впервые за много дней, пока я тут находилась и ждала возвращения Оскара Легница, мысли в ушах смолкли – их заглушил громкий, взволнованный голос Роззи:

– Августа, скажи ради бога, где Робин,– хватая меня за руку, сказала она.– Мне говорят, что его нет...

– Его нет,– кивнула я.– Но он, кажется, вернется к вечеру...

– К вечеру – это слишком поздно!– воскликнула Роззи.

– Ничего не могу с этим поделать,– вздохнула я, и тут же потолок стал приближаться ко мне, и стены надвигались, и рос мой мир, уменьшая одновременно их мир, где Роззи с красными от слез глазами делалась всё меньше и неразличимее...

Как-то, видимо, почувствовав моё к ней равнодушие, она порывисто приблизилась ко мне и стала трясти меня за плечи:

– Августа! Сегодня утром сбежал Иво!

Я с трудом стала вспоминать, кто такой Иво. Я перебирала массу крошечных, как горох, людей, рассыпанных в моей безразличной ко всем ним голове, но никак не могла решить, какой горошине принадлежит это имя и почему ради этой горошины другая, чуть побольше, так плачет и кричит передо мной, не давая мне покоя...

– Сбежал Иво?– переспросила я, всё еще не вспомнив никакого Иво, или, может, вспомнив сразу двоих Иво и досадуя на то, что мне мешают быть влюбленной – а это не такая уж и легкая работа, чтобы вот так вот, непонятно и грубо, прерывать ее...

– Сбежал!– плакала возле меня Роззи.– Он оставил записку. Прочти.

–Записку?– ужаснулась я, и такое вдруг отчаяние накатило на меня от того, что мне придется читать чью-то записку и вспоминать, что значат слова в их записке и что мне делать после того, как я прочту эти слова...

– Не могу найти!– Роззи дрожащими руками обыскивала свое платье, а слезы тихо катились по ее мокрым ввалившимся щекам.

Наконец, не найдя записки, она так разрыдалась, что отошла к окну, захлебнувшись слезами. Там она и стояла, нелепо втянув голову в плечи.

– Он ушел на войну,– говорила она.– Так там было написано: «Ушел на войну защищать вас, страну и короля». Он так написал.

И Роззи стала ходить по комнате туда-сюда, а вернее, метаться, как зверь в клетке. И глядя на это лихорадочное метание, от которого у меня сразу заболели глаза, я вдруг вспомнила, кто такой Иво. Наконец-то, слава богу! Коробочка мыслей из моей головы с тихим, но вполне ясным щелчком раскрылась... На дне коробочки мыслей лежала моя прошлая жизнь в том строгом и неприкосновенном виде, какой я и оставила её лежать там за ненужностью в тишине и спокойствии со времени отъезда милого Оскара Легница... Я вздохнула с некоторым облегчением оттого, что вспомнила Розиного Иво...

Только сначала в памяти ясно, до последней черточки, до крошек свиной колбасы на воротнике, почему-то возник Яков Эйзенерц.

– Да вот хотя бы Роззи, сестра Мариуса,– сказал он, потянувшись за новой бутылкой, которую предусмотрительный Мариус отставил от него подальше на другой край стола.– Августа! Поддай-ка мне вон того вина... Да, вон того. Из левого погреба. Это вино привез еще сам Баррет Лепек из своего первого испанского похода... Ну так вот... Роззи... На ее плечах держится весь дом – она кормит и обстирывает всю их ораву, ходит за старухой Хеленой, утирает носы всем этим детям, которых в их доме черт-те-сколько нанесено... И что при этом? Другая бы на ее месте давно махнула бы на себя рукой во всей этой суматохе и неразбери-что-чье... Превратилась бы в этакое домашнее корыто... А она – нет. Вот никто никогда не видел, чтобы она хныкала – ну, знаете, как любят это делать все бабы без исключения: хныкать, ворчать, поскуливать... Напротив, она всегда весела, и с ней приятно перекинуться парой слов – обо всем она судит с такой простотой и твердостью, которую вообще было бы трудно ожидать в женщине. У нее есть свое собственное мнение по любому – решительно любому! – вопросу. Но она не носится со своим умом, как кошка с больной лапой, подобно прочим женщинам, которые желают сверкать своей образованностью, да и сверкают ею, как таз – помоями... Она умеет себя держать, и видно, что когда-то она знавала лучшие времена, чем теперь, да и, прямо скажем, лучшее, чем теперь, общество... Нет, я не понимаю, Робин, почему ты до сих пор не знаком с Роззи? Она бы тоже пришлась тебе по душе, я уверен. Жаль, что ты не бываешь у Мариуса в Мюрццушлагге – Мариусова мать готовит отличный грог! Мариус, уговори Робина заехать к вам; что он всё время сидит в своей дыре, как сыч? Если б не мы – то и говорить бы, наверное, разучился...

Я мельком глянула на Робина – тот ничего, сидел вполне невозмутимо в своем любимом кресле с ножками, обкусанными собакой, и неторопливо потягивал вино, слушая болтливое Эйзенерца с обычным своим вниманием, которое развязывало Эйзенерцу язык лучше любых расспросов.

– Но, ты знаешь, есть и у нее недостаток,– продолжал Эйзенерц, прищелкнув пальцами.– Хотя для женщин это вполне обычное дело, но для нее – нет, совсем не годится. По-моему, она блудлива.

Робин налил себе еще. Мариусу, подумав, тоже, хоть его бокал и был почти полон.

–Вот с этим я еще не вполне разобрался,– говорил Эйзенерц, покручивая свой ус.– Вроде бы явных признаков нет, да и не ходит к ней никто. Но, с другой стороны, не дает мне покоя этот ее ребенок – шустрый такой растет мальчишка... Я об Иво. Она родила его просто так и

сама по себе, понимаешь? Где-то жила при каком-то непонятно каком муже, потом вернулась в семью уже натяжеле и, представь, так поставила дело, что никто и слова ей не сказал, бровью никто не повел – будто так и надо. Я спрашиваю – они молчат да отмахиваются. Мне до сих пор и не понятно, чей это бегаёт мальчишка... А я так думаю, что если уж случился один раз грех – то и еще случится. Рано или поздно, в какой бы строгости она себя ни держала. Это надо знать женщин!.. Налей-ка, Августа, мне еще вон из той бутылки... и побольше. Нет, лучше давай мне всю бутылку целиком, чтобы не таскать в рот наперстками... С одной вдовой, которая жила по соседству от меня, была почти такая же история... Августа здесь? Да ушли же ее куда-нибудь, Робин. В самом деле! Прямо как со связанным языком сидишь! Ну или, знаешь, выдай ее, наконец, замуж. И то будет слава богу! Неужели ты снова отказал нашему славному Мариусу? Да ты скотина после этого, Робин. Не обижайся, конечно, но ведь это так.

– Она сама так решила, Эйзенерц, – ответил Робин. – И вообще, не твое это дело.

– Она сама так решила! Смешно это слышать! Кто еще, посуди сам, будет два раза свататься за нее? Да и даже один раз кто будет? Уговори ее как-нибудь, если уж ты считаешься тут за её дядьку. Баррет Лепек был бы тебе за это чертовски благодарен! Или ты хочешь, чтобы она просмолилась в старых девах и стала твердой и шерстяной, как корабельный канат?

– Нет, этого я не хочу, – терпеливо ответил Робин...

...Когда Роззи проходила по комнате мимо меня, то своим подолом она размахивала все перья, разложенные мной по кучам старости: старые, не очень старые и совсем ещё ничего, которые можно будет пустить на новые перины... Ветер, который вырывался из-под юбок Роззи, был горячим и пыльным. С её каблучков слетали скорлупки грязи, а чулки – я видела, сидя на полу – были надеты наспех, как попало, перекручены-переверчены... От того, как Роззи металась по комнате туда-сюда, на дырах с её чулок разошлась старая штопка...

А ведь в тот вечер, когда зашёл разговор о Роззи, Эйзенерц напился очень сильно... Да, точно. Я впервые видела, чтобы он напивался так сильно... Хотя, конечно, он стал много пить за последнее время. Мариус с Робинем взяли его за ноги и отволокли на кровать, где я прикрыла его портьерой, которую он сам и сдернул, вцепившись в нее по дороге... Оказавшись на кровати, пьяный Эйзенерц натужно захрапел, открыв рот, куда свешивались его мокрые усы...

...Да она всё здесь перевернёт мне вверх дном!

Я неприязненно глянула на Роззи снизу вверх и осторожно, двумя руками, медленно отгребла самую молодую по старости перьевую кучу к стене, подальше от неё – я потянулась, чтобы причерпнуть все перья, легла на бок, и так вот, лёжа, потихоньку оттаскивала пригоршни перьев от ветра из-под Роззиных юбок...

...-Не надо позволять ему так напиваться, – задумчиво сказал Робин, глядя на заходящего в свисте, клекоте и храпе Эйзенерца.

– Я думаю, он пьет с горя, – ответил Мариус. – Судя по всему, он мертвецки влюблен в свою Роззи.

– А она?

– А что она! Она – как всегда: вынимает ему душу по кусочкам, вытягивает из него жилки и крутит их, как ей нравится, вряд ли вообще это замечая. Поэтому-то он сегодня и напился, а вчера делал Роззи предложение руки и сердца – ни того, ни другого она не приняла. Он, конечно, стал у нее допытываться, почему, отчего и зачем – ты же знаешь этого зануду!

– И что?

– Ну, в конце концов Эйзенерц добился разъяснения, которое его повергло в страшное горе, но одновременно и успокоило: она его не любит. Но завтра он решил идти допытываться дальше. Я хотел было его отговорить: «Если она сказала тебе, что не любит тебя, то разве мало тебе этого?» Он, конечно, уперся: «Просто «не люблю» и «люблю другого» – это разные

вещи», – «Конечно. Вроде того, как просто быть мертвым и быть уже закопанным в землю...» Но всё без толку. Ты же его знаешь.

– Что ж, жаль. Он был бы ей хорошим мужем.

– Мужем? Он? Ты шутишь, пожалуй.

– Нет. Вот из таких-то, как Эйзенерц, и выходят вполне честные и ручные мужья, если за них с умом возьмется какая-нибудь достойная женщина. Какой твоя Роззи, несомненно, и является.

– Но ведь у нее, – мягко сказал Мариус, глянув на Робина, – уже есть муж.

– Был, ты хотел сказать, – Робин закрыл рот грохотавшему в храпе Эйзенерцу. – Но ведь он скверно с ней обращался, не так ли? Эйзенерц уверен, что тот даже поколачивал ее.

– Насколько я знаю, ничего подобного не было. Да и не могло быть.

– Всё равно. Если старый муж оказался плох, то почему бы бедной женщине, которой пришлось с ним несладко, не завести себе новую семью, новых детей – всё это хозяйство, без которого ей, как видно, плохо приходится?

– Вот как? – медленно выпрямился Мариус.

– Тем более, что прежний её муж, я слышал, умер.

– Интересная новость...

– Можешь передать эту новость своей сестре. Должно быть, она будет рада.

– Но послушай, Робин...

– Так и передай, – перебил он Мариуса. – Я сам, конечно, с ним не встречался, но люди рассказывали. Завтра же, как вернешься, скажи ей об этом. Тогда, может быть, она будет поласковее с нашим Эйзенерцем... Она свободна, как все вдовы. Жизнь прошлая осталась позади. Раз уж ее муж умер, то она вольна в своих чувствах точно так же, как вольна отныне в своих поступках. Так и передай, Мариус. Скажи ей, чтоб она была счастлива, ведь теперь она – никому-никто.

– Я-то, конечно, передам, но, Робин...

– Вдовы не должны опасаться за будущее, оглядываясь на своё прошлое. Умершему они отдали всё сполна.

– Ясно, – сказал Мариус, нахмурившись.

– Августа, – обернулся Робин ко мне. – Останься, прошу тебя, здесь и позови нас, когда он, может быть, очнется...

...– Он ушел на войну. Он так и написал. «Ушел на войну защищать вас, страну и короля». Что же теперь делать!

Роззи в сотый, а может, и в тысячный раз повторяла это. Слова её были назойливы и лезли в уши, как мухи. Я подумала, может сказать ей, что Робин обещал вернуться только завтра... Тогда она уйдет, наконец, отсюда и не станет его ждать. Как жаль, что я сразу так ей не сказала...

– Иво – это всё, что у меня осталось! – снова услышала я. – Я даже представить не могу, куда он мог направиться... Надо попросить Робина, чтобы он послал людей по пяти разным дорогам... Какой глупый мальчишка!

– Да, глупый мальчишка, – повторила я только затем, чтобы что-то сказать... Я вспомнила, кто такой Иво, но вспомнив это, так устала, что тут же забыла что-то другое. Или всё-таки сказать ей, что Робин вернется только завтра? Конечно же, она уйдет!

– С Иво в дороге может случиться беда – сейчас так опасно на дорогах – толпы нищих, бродяг, дезертиров, погорельцев и неизвестно кого еще! Он пропадет... Ему всего двенадцать лет, и он пропадет...

Я тихо, незаметно, но довольно крепко заткнула себе уши, надавив на них ладонями, чтобы больше не слышать ни одного слова о пропавшем Иво, потому что каждый звук, вырывавшийся из горла этой мечущейся возле меня женщины, казался мне хрипом какой-то хищ-

ной, страшной птицы – из тех больших неистребимых птиц, которые кружат над полем, неподвижно расставив несущие тень и темень крылья... Каждый такой хрип причинял мне почти ошутимое страдание – так начинал меня мучить мир, с грубой навязчивостью дергая меня за плечи... И почему я не могу сказать ей, что Робин вернется завтра? Всего три слова – «Робин. Вернется. Завтра» – и она уйдет, оставит меня в покое...

– Он так и написал, Августа! Что же теперь делать? Иво – это всё, что у меня оста...

Нет, поздно. Если теперь я скажу ей, что Робин вернется завтра, то она не поверит мне. Она спросит, почему же я сразу не сказала, что Робин вернется завтра... Она заподозрит что-нибудь, она останется, чтобы выяснить всё наверняка – сегодня он вернется или всё-таки завтра... Да, она останется – скажу я ей про завтра или не скажу... Я болезненно поморщилась оттого, что мне приходится нынче терпеть всё это. И тут спасительная коробочка старых, давно отслуживших, но, слава богу, еще не выброшенных мыслей в моей голове снова щелкнула, распахнувшись, и...

– Да, так и написал, Августа! Я боюсь подумать, что же с ним может случиться в доро... Ему всего двена... Послал людей... Так опасно на доро... сейчас так опа... дезертиров... неизвестно кого!

...и бал в Мюрццушлагге выпрыгнул мне в зажатые уши... Да, бал в Мюрццушлагге, почему бы и нет, в самом деле?

– Я боюсь подумать, что же с ним может случиться в доро...

Да-да, бал в Мюрццушлагге по поводу нашей с Мариусом помолвки, иначе я, ей-богу, сойду с ума слушать всё это... Сначала всё хотели устроить здесь, в Лепеке, но наши соседи, прознав, что мой жених – безродный Мариус из полуразвалившегося нищего Мюрццушлагга, на пир не явились. Тогда мы погрузили всё, что было приготовлено, на четыре телеги и отправились в Мюрццушлагг. Все, кроме Робина...

– Что же теперь делать? «Ушел на во...» Так и написал... Глупый мальчи...

Нет уж, мы погрузили всё, что было заготовлено, и отправились в Мюрццушлагг. Там праздновать умели, и нашу помолвку праздновали долго, весело и так шумно, что...

– Ему всего двена...

...долго, весело и так шумно, что распугали криками всех ворон с дырявой крыши Мюрццушлагга, и те, потревоженные, в недоумении кружились над поющим и трясущимся домом, так и не решаясь опуститься на дрожащие балки. Когда у них устали крылья, они, вздохнув, попадали на землю и там сидели, поджав клювы и огрызаясь на лающих собак, недобро поглядывая на них черными глазами, а потом переводя взгляд на сияющий всеми огнями дом...

У нас по главной зале плясали пары, обнимая друг друга за сытые бока... Бернан играл на старой скрипке, которая визжала простуженным голосом непонятные и резвые песни... Мариус два раза поцеловал меня под крики набежавших гостей. Они принялись так смеяться и хлопать в ладоши, будто на их глазах совершилось бог знает какое редкое и удивительное событие. Филипп не удержался и тоже поцеловал невесту, за что немедленно получил шутильную затрепину от своей жены.

Это так развеселило всех, что подвыпившие гости принялись с хохотом и криками целоваться кому с кем получится и кто кому куда попадет... Получилась галдящая куча. В этой визжащей неразберихе досталось даже Хелене пара поцелуев, и она долго отфыркивалась, усмехаясь и утирая щеки большим, как простынь, платком. Хорошенькой Карле пришлось совсем туго – желающие обняться с ней сшибались возле нее лбами и целовались, промахиваясь, друг в друга. Когда же Карла, хохоча, придумала спастись от них, вскочив на стол, им достался от нее только ее кружевной чепец – он был весь сырой от улетевших мимо поцелуев... Щеки Карлы горели безумным весельем, а Филипп издали грозил ей кулаком, но тоже смеялся, тоже смеялся...

Другие девушки, увидав, как ловко Карла сбежала от поцелуев, тоже вслед за ней стали запрыгивать на стол, сбрасывая вниз глиняные миски... Тут Бернан снова взялся за свою щербатую скрипку, и начался танец, самый визгливый и бешеный из тех, что когда-либо затевался и придумывался на таких вот сборищах. Девушки плясали на столе, отбивая каблучками дробь по гулкому дубу, а парни вились вокруг, и каждый из них крутился то так, то эдак, стараясь подобраться к своей подружке, чтобы суметь схватить ее за ножку, не лишившись при этом зубов. Всего через пару минут плясуны уже были порядочно побиты каблучками танцующих девушек, но это совсем не умерило их пыл, а даже наоборот – кавалеры всё с большей напористостью атаковали стол. Ну а юбки девушек – парадные, яркие, накрахмаленные до хруста – становились при этом всё короче и короче. В руках гогочущих охотников за поцелуями оставались лоскуты с рваными краями, которые тут же засовывались в карман или прикалывались к шляпе, покуда там еще оставалось место... Иногда кто-нибудь, дурачась и закатывая глаза, прикладывал тряпицу к сердцу, но тут же отбрасывал лоскут прочь, чтобы с веселой яростью броситься к столу за окончательной победой. Еще несколько минут – и весь пол был усыпан разноцветными лоскутками – белыми, желтыми, красными, полосатыми... Они лежали, как опавшие листья, то и дело подхватываемые, словно ветром, буйной пляской несущихся в неостановимом хороводе ног... Пола становилось всё меньше и меньше – лоскутки падали сверху, кружась, с тихим треском, еле слышным сквозь общий хохот и визг. Отодравшего самый большой лоскут приветствовали дружным воем, а потерявшую – таким улюлюканьем и рукоплесканиями, что зазевавшаяся девушка прятала лицо в ладони, глядя сквозь растопыренные пальцы, как радуются там, внизу, этой добыче... Потом девушки проталкивали свою подружку-разиню в середину своей стайки, и всё продолжалось опять... Танец между тем становился всё азартнее – по мере того, как юбки делались короче и короче, им было всё легче взлетать вверх, взметаться, задираться, вздергиваться и взбиваться... При этом охотникам снизу отрывались такие горизонты, что они просто бесились от восторга, и всё ярче вспыхивали их глаза... Но лоскутный дождь постепенно прекратился – юбки танцовщиц стали так коротки, что теперь до их края дотянуться было почти невозможно. Зато поймать и поцеловать голую ножку оказалось гораздо легче, чем это мечталось вначале. Танец продолжался, и лодыжки девушек, а потом уже и коленки, стали розоветь от частых поцелуев... Ладно бы розоветь! У некоторых, особенно нерасторопных плясуний, которые попадались в руки ревущих внизу охотников гораздо чаще, чем прочие, коленки сделались прямо-таки пунцовыми от стыда за частые поражения. Впрочем, неизвестно, что для девушки на столе было приятнее – ускользнуть или попасться. Башмачки девушек сверкали искрами, вычищенные до блеска мужскими усами. Но для танцующих внизу поцеловать башмачок стало уже, конечно, слишком мало... И совсем скоро круглые вертлявые коленки девушек стали поблескивать точно такими же опасными бликами. А потом Хелена вдруг остановила это премилое развлечение, отобрав у Бернана смычок и закричав, что сейчас будут подавать сладкий пирог. Но многие, очень многие, были недовольны её вмешательством и даже рассержены... Чтобы снять девушек со стола после этого лоскутного танца, разгоряченные вином и весельем кавалеры один за другим потянулись подставить девушкам свои плечи. Покачивающиеся от усталости танцорки в растрепанных юбках, торчащих задорно и нелепо, как перья купающихся в песке птиц, столпились на краю стола, защебетали друг с другом, тесно сблизив головы, быстро и озорно поглядывая на ждущих внизу мужчин и, наконец, решились. Они садились на подставленные плечи – осторожно, немного боком – а кавалер почтительно придерживал свою долгожданную ношу за дымящиеся башмачки. Чтобы не нарушить это хрупкое равновесие, девушки упирались локотками в очумелые и всклокоченные кавалеровы затылки... Тут Бернан снова добрался до смычка – кривого, со щербиной, полулысого и злющего – и Хелена даже руками всплеснуть не успела, как снова пошла потеха! Парни с девушками на плечах пустились в пляс. Чтобы удержаться на всём скаку и не свалиться вниз, девушки схватились за неумных своих кавале-

ров, а те уже от всей души подсакивали, топали, приседали и кружились по зале – да всё с таким непременным расчетом, чтобы цепляющаяся и визжащая подружка почувствовала бы себя напрочь лишенной былой спеси и важности. И вскоре кавалеры так закружили и закрутили растрепанных девиц, что те, спасая свои жизни, беззащитные от этого внезапного буйства, с писком и криками, но от всей души сдались, наконец, на милость победителей и обвинили кавалеров кто руками, а кто и ногами – так, конечно, было гораздо надежнее... Наконец, Бернан смилоствовался над визжащими девицами и заиграл более медленную и плавную мелодию. Хотя, конечно, и эту с вывертами, с всхлипами, непутевую... Затеялся новый танец, и затеялся из непрерывающегося старого. Девушки – одна, за ней другая, потом третья, ну а после все остальные – капризно поджали исцелованные ножки, и кавалеры закружили их над землей, бережно и крепко обняв руками долгожданные талии и храня на своих плечах доверчиво щебечущие пальчики. Девушки плыли в медленном качании танца, не касаясь башмачками пола – ни одна! Кавалеры терпеливо и блаженно несли их – скрип, скрип, скрип... Слышался только размеренный топот тяжелых мужских сапог и башмаков по лоскутному осеннему полу, и ни один женский каблук не нарушал этого тяжеловесного топая своим легким стуком. Послушаешь – как будто идет рота солдат: раз – два – три, раз – два – три... Идет, приплясывая, как прихрамывая, от одиночества, как неуклюжести. Но вот поднимешь взгляд повыше – а в руках у каждого, как букет, брошенный победителю, девушка в охапке, и головка ее – то склоненная на плечо, то на грудь, а то – у самых губ... Танец стал тем, чем и должен был рано или поздно стать – обниманием. Кто-то еще делал вид, что танцует, но уже немало женских башмачков опустились вниз и крепко уперлись в пол, чтобы удобнее было целоваться... Хелена снова всех разогнала, снова отобрала Бернанов смычок, замахнулась строго, чтобы вроде как изломать его об колено, но тут же улыбнулась, вздохнула и передумала, отдав смычок мне... Я повертела его в руках – десятки глаз следили за мной, а я не знала, что с ним делать – с этим внезапно врученным мне жезлом танцев и веселья. Бернан сверкнул белозубой улыбкой и вынул из-под скамьи новую скрипку – побольше, побелее да и поленивее. На все гулянки он всегда брал с собой три скрипки: «Одну пропью, другую сломаю, а третью украдут...» Снова затеялся танец. Меня окружили смеющиеся пары, и я черным смычком, оставшимся у меня в руках, указывала, кому с кем идти танцевать. Тут же было решено, что я так и буду повелевать, а меня все будут слушаться, как главную на празднике... Когда я угадывала и соединяла в пару двух влюбленных, их счастью не было конца, словно не на танцах смычком, а в церкви распятем их благословили... Когда я заставляла плясать вместе невлюбленных, а еще хуже того, разбивала из-за этого влюбленные парочки, то их возмущению не было конца. Они потешно кривили друг другу обидные рожи, отворачивались друг от друга, иногда шутя колотили один другого по бокам, а иногда поплевывали друг на друга с таким забавным презрением, что окружающие, глядя на них, покатывались со смеху... Одним повелительным взмахом своего кривого жезла я прекращала эту пытку и милостиво разъединяла мучающихся, отослав даму к другому кавалеру, а кавалера – к другой даме, возможно, впрочем, еще более нежеланной... Так я очень ловко тасовала и смешивала пары, скорая на расправу и безжалостная, как и всякий бог любви. Время от времени я давала потанцевать вместе влюбленной парочке – и не было зрелища более умирительного, когда, наконец, влюбленные соединялись друг с другом после всех мытарств и скитаний. Они разыгрывали целый спектакль о своей долгожданной встрече, пуская в ход и поцелуи, один горячее другого, и самые нежные и бурные вздохи... Впрочем, блаженство их, конечно, не длилось долго, потому что я очень скоро разбивала счастливую парочку, ловко замешивая своим смычком путаницу и неразбериху из всех этих маленьких любовей, расставаний, ревностей и встреч. Я чередовала всё это и месила как повар, готовящий особое блюдо, которое должно всех порадовать, и мне нравилось играть свою роль – роль вершительницы судеб, пусть даже танцевальных и кратких. Забава эта надолго всех захватила, потом я передала смычок Мариусу, а сама, улучив момент, выскользнула прочь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.